

ПЕТР ПОЛЕЖАЕВ

ФАВОР И ОПАЛА.

ЛОПУХИНСКОЕ ДЕЛО

(СБОРНИК)

История в романах

Петр Полежаев

Фавор и опала.

Лопухинское дело (сборник)

«Public Domain»

1883, 1903

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2Рос=Рус)

Полежаев П. В.

Фавор и опала. Лопухинское дело (сборник) / П. В. Полежаев —
«Public Domain», 1883, 1903 — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03836-5

Петр Васильевич Полежаев (1827–1894) – русский писатель-романист. Родился в Пензе. Прославился как автор цикла романов «Интриги и казни» из истории XVIII столетия, в котором рассказывается о трагической борьбе за трон Российской империи. В этом томе представлены два произведения Полежаева. В романе «Фавор и опала» автор описывает недолгое царствование Петра II и судьбу тесно связанной с ним семьи князей Долгоруковых, а также историю появления на русском троне Анны Иоанновны. Роман «Лопухинское дело» повествует о заговоре против А. П. Бестужева-Рюмина – вице-канцлера Елизаветы Петровны.

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03836-5

© Полежаев П. В., 1883, 1903
© Public Domain, 1883, 1903

Содержание

Фавор и опала	5
Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Петр Полежаев

Фавор и опала.

Лопухинское дело (сборник)

Фавор и опала

Часть первая

Фавор

I

– Затеял ты, брат Алексей Григорьевич, высоко взлететь, только, смотри, не спуститься бы где-нибудь в сибирских палестинах! – говорил своим обычным мягким голосом князь Василий Лукич Долгоруков

двоюродному брату своему, князю Алексею Григорьевичу Долгорукову, на другой день после коронации Петра II Алексеевича, внука Петра Великого, в дружеской беседе в кабинете последнего один на один.

– Кому спуститься? Мне? Нет, брат Василий Лукич, не знаешь еще ты меня, – самодовольно отзывался Алексей Григорьевич. – Кто, по-твоему, низвергнул нерушимого статую Данилыча? Кто, по-твоему?

Василий Лукич тонко улыбнулся:

– Нерушимый статуй Меншиков, братец Алексей Григорьевич, рухнул от того, что грузен очень стал, пьедестал не выдержал. Рухнул бы он и сам собою, да только после, а теперь сронить его постарались многие персоны, только не ты, брат Алексей.

– Кто же, по-твоему? Кто? – горячился Алексей Григорьевич.

– Кто? Хочешь знать? Так я скажу тебе: подкопался под статуя барон Андрей Иванович Остерман, которому, сами того не ведая, дружно помогали сестрица государева Наталья Алексеевна, тетка-цесаревна Елизавета да твой сынок Иван.

– Андрей Иваныч! Ха, ха, ха! Барон Андрей Иваныч! – захлебывался от смеха Алексей Григорьевич. – Насмешил же ты меня, брат Василий. Вот и видно, что господином посланником состоял – видишь там, где ничего нет. Андрей Иваныч, брат, человек хворый; хоть и немец, а простой, даром что воспитателем считается государевым, а из моей воли никогда не выйдет. Захотел бы я, так завтра же его не было бы, да не хочу: человек он нужный, работник без усталы, смирный и послушливый. Андрей Иваныч, что ль, посадил нас, меня и тебя, в Верховный совет? Я, Василий, сам сел и тебя посадил. Хорош воротила, хороши и помощники! – И Алексей Григорьевич снова захохотал до слез.

Князь Василий Лукич не возражал; он только по привычке едва заметно повел правым плечом да досадливо забарабанил по столу тонкими, длинными, точно выточенными пальцами, на которых блестели перстни с драгоценными камнями.

– Хороши помощники, нечего сказать! – продолжал князь Алексей Григорьевич, лукаво прищуривая на брата зеленоватые глаза. – Девочка несмышленная и хвора, да ветреница, у которой на уме только пляски да песни. А что ж касается до сынка моего, то всем известно, какой он отпетый идол.

– Ивана хулить тебе не след, брат, через него и вы все пошли, – заметил Василий Лукич. – Любит его государь чуть ли не больше себя.

– Любит, правда, да какая же Долгоруковым-то от этого польза? Иван не токмо что порадеть семейству своему, а, напротив, норовит, как бы насолить ему. Кутежами только одинако в мыслях своих преисполнен.

– Молод еще, выработается, – оправдывал племянника Василий Лукич.

– Нет, братец любезный, не в молодости тут сила. Вот другой мой сын, Николай, и моложе его, а понимает, что он князь Долгоруков. Задумал я отвести государя от Ивана и поставить в фавориты Николая, а если не удастся Николая, то кого-нибудь из чужих сподручного.

– Напрасно. Алексей Григорьевич, напрасно ты это задумал. Отведешь Ивана, так и сам останешься ни при чем. Поддержки-то, как я знаю, у тебя нет.

– Какой же мне еще поддержки, окромя государя?

– Государь государем – это главное, а не худо бы заручиться и разными альянсами с другими фамилиями.

– А где же ты, милостивый мой князь, отыскал другие фамилии, кроме нашей? – с хвастливостью возразил Алексей Григорьевич. – Всех таких фамилий покойный государь либо разогнал, либо поравнял с подлым народом.

– Ну нет, есть еще, – задумчиво заметил Василий Лукич.

– Ну скажи, где они такие фамилии?

– Ну Головкины, например.

– Канцлер Гаврило Иваныч? Ну уж выбрал кого! Головкин, братец мой, не из больно знатных персон, да и сам Гаврило Иваныч ни то ни се, ни рыба ни мясо. Нешто сделался силен, как выдал дочку замуж за жидка Ягужинского? Славная поддержка!

– Ну, есть кроме Головкиных и другие фамилии, Голицыны, например.

– Голицыны, не спорю, древнего рода, Гедиминовичи, да только они теперь не в силе. Государь их не любит.

– Государь молод, на привязанность или неприязнь его рассчитывать много не след, – с задумчивостью проговорил Василий Лукич. – Да и где же проявилась неприязнь к Голицыным?

– Об этом не беспокойся – дело сделано. Как только отослали нерушимого статую, я, зная, что со стороны Голицыных, особенно со стороны Михайлы Михайловича, будет какая-нибудь вспышка в пользу Данилыча – были они, ты знаешь, хороши между собою, служили вместе покойному, – я тогда же шепнул о дружбе фельдмаршала Михайлы с Меншиковым, предупредил, значит, как следует. Вот когда Михайла Михайлович явился из Украины в Петербург и, получив аудиенцию, начал укорять государя, что ссылать людей заслуженных без суда неподходящее дело, так государь обернулся к нему спиною и явную показал немилость. С тех пор нам Голицыны не опасны. Где их сила? Знаешь сам, какие у них, у Дмитрия Михайловича и Михайлы Михайловича, упрямые характеры, а такие характеры Петр Алексеевич не любит.

Василий Лукич, по обыкновению, не показал ни одобрения, ни осуждения, только после небольшого раздумья он спросил брата:

– Заметил я, что цесаревна Елизавета в последнее время стала к Голицыным особливо благосклонна. Не было бы тут чего!

– А чему быть? – вопросом ответил Алексей Григорьевич. – Цесаревне понравился племянник фельдмаршала Михайлы, молодой Бутурлин, – вот и все тут. Боишься ты, брат Василий, влияния на государя цесаревны, больно он уж ее любит, а, по-моему, это ничего. Цесаревне не ребенок нужен, ведь это только немцу Андрею Иванычу могла прийти такая шальная мысль: женить племянника на цесаревне для совокупления-де воедино двух царственных ветвей! Цесаревну мы отведем, выдадим ее замуж за границу, Иван постарается... Да и самого государя можно отвлечь: иной раз и служанка покажется не хуже госпожи...

И Алексей Григорьевич, вплоть наклонившись к уху Василия Лукича, начал шептать:

– Заметил государь камеристку у цесаревны, смазливенькую такую, как будто схожую с цесаревною, вот Иван и уладил... Не пожалел заплатить и пятидесяти тысяч рублей... Проводил девушку к государю... Слюбились... С той поры государь не по-прежнему дорожит и сестрою своею Натальею Алексеевною.

– Неужто? – удивился Василий Лукич. – Да как же это? Ведь государю только двенадцать лет минуло с прошлого октября.

Алексей Григорьевич самодовольно хихикнул и утвердительно мотнул головою.

Как ни был свободен от предрассудков относительно служения Эроту князь Василий Лукич, видевший разные виды при иностранных дворах, но и он заметно смутился от рассказа брата. «А впрочем, – тотчас же мелькнуло в его голове, – оно, может быть, и к лучшему...» В изобретательном уме дипломата моментально обрисовались картины перенесения и на русскую почву тех порядков, какие он видел за границу, в Швеции и Польше, картины, вполне удовлетворявшие олигархическому духу, в которых все было: и власть, и слава, и почести, не было только одного – мысли о подлом народе.

Беседа братьев протянулась до полночи; об всем, казалось, было переговорено и условлено, но через несколько часов случилось обстоятельство, которое все-таки не предвиделось.

На другой день после совещания, утром, весь придворный круг облетело известие о каком-то подметном письме, поднятом у Спасских ворот близ Кремля и тотчас же представленном господину обер-камергеру Алексею Григорьевичу. В письме содержалось прошение за павшего статуя Александра Даниловича Меншикова. Гневом вскипел Алексей Григорьевич, прочитав это письмо, и по первому побуждению предположил было скрыть его от всех, уничтожить без следа, но потом, обдумав хладнокровно, решил, напротив, показать его государю и прочитать, разумеется, с приличными пояснениями. Письмо, написанное, как видно, неопытным человеком и притом поясненное ядовитыми примечаниями, не могло не раздражить государя, не могло не оскорбить его самолюбия и гордости. В нем, после упоминания о заслугах Данилыча, высказывался извет о низких замыслах окружающих теперь государя любимцев, ведущих его к образу жизни, недостойному царского сана. «Кто мог быть автором этого письма? – задавался вопросом Алексей Григорьевич. – Где отыскать его?» Ясно, что автор должен быть кто-нибудь из сторонников Меншикова, но после падения статуя этих сторонников вовсе не оказывалось: все тогда отшатнулись от опального семейства. Одни только Голицыны в то время не лягнули упавшего – не их ли дело и подметное письмо? Однако же как ни казалось с первого взгляда подобное объяснение естественным, но оно до того противоречило всем известному характеру обоих Голицыных, что не представлялось никакой возможности к назначению над ними инквизиции. Да и к чему бы повела против Голицыных инквизиция? Только к возбуждению против себя фамилии сильной, всеми уважаемой, ссориться с которою, при неутвердившемся еще собственном положении, было не совсем безопасно. И Голицыных оставили в покое, направив в иные сферы все тайные силы к разысканию виновного автора. Кроме легиона шпионов составили и обнародовали манифест, в котором обещалось прощение автору, если он сознается добровольно сам, назначалась награда тому, кто донесет о виновном, и жестокая кара тому, кто, зная виновного, укроет его.

Долго не отыскивалось никаких следов, но наконец по каким-то темным слухам, ходившим между монахинями Новодевичьего монастыря, где проживала бабушка государя, царица Евдокия Федоровна – инокиня Елена, – подозрение остановилось на духовнике ее, монахе Клеонике.

Постельницы и послушницы, прислуживавшие у бабки-государыни, большие охотницы, как и во всех обителях, подслушивать и подсматривать, стали сначала только между собою, а потом и с другими смиренными сестрами – монахинями Новодевичьего монастыря, шушукать о том, что монах Клеоник, духовник старой царицы, стал в последнее время особенно частенько навещать свою духовную дочь и о чем-то толковать шепотом, выслав предвари-

тельно всех докучных свидетелей. Как ни тихо шептал отец Клеоник, но острое ухо смиренных сестер подслушало, что он уговаривает царицу похлопотать перед государем о помиловании родной сестры Дарьи Михайловны Меншиковой, Варвары Михайловны Арсеньевой, самой приближенной к опальному семейству и сосланной в Александровскую слободу. Сплетни об этих переговорах, перелетая от одной к другой, перешли за монастырскую ограду к дворцовой челяди, а потом и к самим господам, княгине Прасковье Юрьевне и к мужу ее, самому князю Алексею Григорьевичу.

Монаха Клеоника притянули к розыску.

На первом же допросе духовный старец чистосердечно сознался в своих хлопотах перед царицею в пользу Арсеньевой, сославшись на просьбы Ксении Михайловны Колычевой, тоже сестры Меншиковой и Арсеньевой, жившей постоянно в Москве, и к которой привел его знакомый монах, отец Евфимий. Привели к розыску Колычеву. Ксения Михайловна сначала заперлась было, но потом, под пыткой хомутом и ремнем¹, во всем повинилась, добавив еще то обстоятельство, что отец Клеоник, рекомендованный ей через знакомую Бердяеву, взял с нее за свои хлопоты взятку тысячу рублей. Притянули отца Евфимия, Бердяеву и всех, кто сколько-нибудь соприкасался к этому делу, допытывались, не было ли участия в подкупе Меншиковых и не было ли подброшенное к Спасским воротам анонимное письмо сочинением самого Александра Даниловича. Но как ни пытали, как ни разыскивали, но автор письма не открылся.

Отцов Клеоника и Евфимия, Колычеву и Бердяеву разослали по разным отдаленным местам, но этими наказаниями не удовлетвоались. Алексею Григорьевичу все мерещилось непосредственное участие Меншикова в подметном письме, все чудилось, что до тех пор, пока Данилыч не погребен в сибирские снега, а живет в своем Ораниенбурге и пользуется громадным богатством, подобные попытки постоянно будут возобновляться и наконец могут сделаться небезопасными. Под давлением таких опасений Алексей Григорьевич сумел возбудить в государе заснувшее раздражение, представить участие Меншикова в сочинении письма делом доказанным и достигнуть совершенной гибели всего опального семейства. Александра Даниловича с женою, сыном и дочерьми отправили в Березов в простой рогожной кибитке и в двух простых телегах, лишив решительно всего имущества, а Варвару Михайловну Арсеньеву сослали в Белозерский Сорский женский монастырь под строгий присмотр и на нищенское содержание.

II

Розыск производился негласно, и во все продолжение его инокиня Елена, бывшая царица, оставалась совершенно безучастною. Никто ее не беспокоил. Тихо, уединенно текла ее жизнь в монастырских стенах, среди полного обилия царского содержания, назначенного ей тотчас же по вступлении на престол внука. Но внешняя безмятежность не есть еще безмятежность внутреннего мира. Правда, ее государственная честь была восстановлена – на другой же месяц по воцарении Петра II Верховный тайный совет сделал распоряжение об уничтожении повсеместно манифеста о преступлениях царевича Алексея Петровича и о скандальных отношениях ее с майором Глебовым, – правда, ее освободили из тюремного заточения, назначили большую сумму, ежегодно до шестидесяти тысяч рублей, отписали ей несколько деревень, образовали ей особый придворный штат, но все это далеко не удовлетворяло ее честолюбия. Почти двадцатилетняя монастырская жизнь, кончившаяся разгромом всех ее тайных надежд, потом почти десятилетнее строгое тюремное заключение в Шлиссельбурге, полное лишение самых первых удобств, убелили некогда роскошные волосы, провели глубокие морщины на пожелтевшем лице, высушили барскую полноту, согнули прямой стан, но не сломили родовитой гордости и лопухинского упрямства.

Не мир и спокойствие внесли новые почести в душу старой царицы, а самую едкую и самую жгучую скорбь. И в монастыре, и в крепости она надеялась, не отдавая себе ясного отчета, на поворот своей судьбы, на возвращение к старому после зловредных и небывалых затей покойного мужа-тирана. Но вот этот поворот как будто и совершился: на престоле ее родной внук, а не дети ненавистной немки; все почти сподвижники гонителя-мужа, не исключая и злодея Меншикова, исчезли, а лично для нее этот поворот не принес именно того, чего так жаждала ее душа. Сначала счастье как будто бы улыбнулось: вскоре по приезде ее в Москву из Шлиссельбургской крепости все высокопоставленные влиятельные персоны – вице-канцлер и воспитатель барон Андрей Иванович Остерман, бывший вице-канцлер Шафиров, Голицыны и Долгоруковы домогались ее внимания раболепными искательствами, кто письменно, кто лично, все ожидали, как и она сама, что ребенок, родной внук, из власти ее не выйдет, как бывало по родительскому старинному уважению, но на деле вышло иное. Родной внук оказался чужим, показал ей все наружные знаки почтения, но не только не открыл ей своего сердца, а, напротив, совершенно бесповоротно и видимо для всех отшатнулся. Родной внук не пригласил ее жить с собою в царском дворце, выслушал равнодушно, если не с досадою, ее советы о бережении здоровья, придал своему свиданию какой-то официальный характер, взяв с собою на это свидание кроме сестры Натальи Алексеевны и цесаревну Елизавету, которую как дочь ненавистной немки старухе царице видеть было в высшей степени неприятно. По примеру государя отшатнулись от нее и все высокие персоны, увидев, что нечего в ней искать, что без силы и значения она, как развалина прошлого. Только и раболепствовали перед нею монахины, послушницы, приживалки, церковные чины да свой штат, получающие от нее хлебные даяния.

В душе вдовствующей царицы началась тяжелая борьба, более тяжелая, чем во все пережитое время в монастыре и крепости. Там хотя и было много лишений, но там было и своего рода спокойствие безмолвной покорности перед силою, но теперь, в каждую минуту, обман самого напряженного ожидания. Не слышала она в церкви молитв, не слышала дома в келье обращенных к себе вопросов послушниц, все прислушиваясь как будто к отдаленным шагам высоких персон, присланных раболепно умолять ее занять подобающее место власти, место полной безотчетной царицы и руководительницы государя, но – все кругом тихо, с утра до позднего вечера утомительно тихо. Ни внука и никаких высоких персон не появлялось. И сознает она порою свое положение, силится усмирить мятежные помыслы, побороть их молитвою, постится, как постились самые строгие подвижники, по целым дням ничего не ела, а все не может переломить себя, а все желчь накапливает, поднимается, душит и обрушивается на прислушниц, ни в чем не повинных.

Забыли старуху бабуку государь-внук, государыня-внучка и весь придворный чин; у них у всех свои интересы, свои заботы – удовлетворить жажде молодых сил, ничем не сдерживаемых.

Двенадцатилетний государь въехал в Москву за три недели до коронации и занял с сестрою своею, старше его годом, Натальею Алексеевною, с теткою Елизаветою и приближенными придворными Лефортовский дворец в Немецкой слободе. Москва ликовала, а с нею ликовал и весь русский народ. Массы народу провожали государя по всему пути из Петербурга до Москвы и еще большими несчетными толпами теснились с утра и до вечера около дворца, желая хоть только взглянуть на своего надежду-царя, о котором ходили такие добрые и хорошие слухи. Истомился народ от тяжелых войн покойного деда-государя за какое-то тухлое болото, от которого он в душе открешивался, которого и даром не желал бы взять и в котором погибал тысячами в пригнанных туда серых работниках, истерзался народ от новшеств, ненавистных русскому сердцу, и охотно верил, что тяжкие времена миновали, что новый юный царь не пойдет по следам деда, а по пути православных исконных царей. Мил был русской душе юный царь по печальной судьбе отца. Все: богатый и бедный, горожанин и крестьянин, – все передавали друг другу, что царевич Алексей Петрович был замучен отцом за любовь к русской старине, что по

злобе своей старый дед хотел передать престол детям от немки, для этого им и коронованной, но вот Бог не попустил неправды и все-таки возвел на державство законную отрасль.

Коронование императора Петра II совершилось по обыкновенному церемониалу и с обычными празднествами, милостями и увеселениями. Целую неделю, изо дня в день, продолжались торжества, целую неделю оглушал весь город звучный трезвон всех московских колоколов, а по вечерам зажигались потешные огни. Для увеселения народного были пущены в Кремле и в других частях Москвы хитро устроенные фонтаны, выбрасывавшие водку и вино.

Не успели еще кончиться коронационные забавы, как получено было известие, которое тоже должно было отпраздновать особым торжеством: в Киле у Анны Петровны, герцогини Голштинской, родился сын, будущий император Петр III. Казалось бы, что сыну царевича Алексея Петровича не было особого повода радоваться рождению двоюродного брата, сына Анны Петровны, но радовалась Елизавета Петровна, глубоко и нежно любившая сестру, а что радовало тетку Елизавету, то радовало столько же, если не больше, и племянника. Предположено было отпраздновать семейную радость великолепным балом.

К ярко освещенному подъезду Лефортовского дворца нескончаемою вереницею тянутся всевозможных видов кареты, колымаги и возки, из которых выпархивают или вываливаются важные персоны того времени. Гости в парадных кафтанах, вышитых золотом, и гости в легких богатых робах наполняют обширные залы, то величаво прохаживаясь, то собираясь кружками. Давно ли требовалась вся мощная сила Петра Великого, чтобы вывести русскую женщину из запертого терема на учрежденные им зловредительные ассамблеи, а вот через два года после смерти Петра эта самая женщина не только совершенно освоилась со своим новым положением, не только усвоила западные манеры, но и пошла в уровень, если не дальше, по легкости отношений к мужской половине. Конечно, бывали исключения, встречались еще женщины, не смевшие поднять глаз на мужчин, не отвечавшие на их вопросы или отвечавшие только односложными «да» и «нет», считавшие чуть ли не позором подать кавалеру свою руку, да вдобавок еще обнаженную, но зато нередко можно было видеть и дам, которые по костюму и манерам не уступали самым элегантным версальским богиням. Давно ли, три-четыре года назад, при деде Петре ассамблейные костюмы отличались крайнею простотою, такую простотою, что на самом государе, с которого, разумеется, брали пример и другие, не в редкость бывали чуйки и кафтан, заштопанные заботливою рукою Екатеринушки, а теперь бальные робы стали поражать иностранцев изумительною роскошью по изысканности тканей и по дорогим отделкам из драгоценных камней.

Трудно представить такую разнообразность общества, какая была на Руси в начале второй четверти XVIII столетия вообще и в особенности на придворном бале, данном по случаю рождения голштинского принца, на котором толпились все официальные и неофициальные представители Петербурга и Москвы. Приехал весь дипломатический корпус, присутствовавший на коронации: имперский посланник граф Вратиславский, испанский – герцог де Лирия, датский – Вестфален, польский – Лефорт и другие с семействами и свитами, придворные, министры, сенаторы, президенты и некоторые приехавшие провинциальные административные чины. Женский персонал представлял собою роскошный букет, из которого особенно выделялись замечательные красавицы того времени: цесаревна Елизавета Петровна; замужние дочери канцлера Головкина, графиня Ягужинская и княгиня Трубецкая; княжна Катерина Долгорукова, дочь Алексея Григорьевича; Наталья Федоровна Лопухина и только что в первый раз выехавшая пятнадцатилетняя графиня Наталья Борисовна Шереметева.

В ожидании выхода государя все приехавшие разделялись на отдельные две группы, мужскую и женскую, состоявшие из групп более мелких. Не было только сестры государя, царевны Натальи Алексеевны, и ее отсутствие удивляло всех, так как все знали, как дружны между собою брат и сестра. О причинах этого отсутствия все обращались с вопросами к ее придворному штату и получали в ответ, что царевна нездорова, но этот ответ никого не удовлетворял.

– Как же нездорова, когда она вчера вечером навещала тетку, герцогиню Курляндскую? – с недоумением спрашивали друг друга придворные.

Спросили Анну Иоанновну, но та не дала никакого положительного ответа.

Заиграла музыка, и из внутренних покоев показался недавно пожалованный обер-камергер Иван Алексеевич Долгоруков, за которым шел юный государь в сопровождении двух своих воспитателей, барона Андрея Ивановича Остермана и князя Алексея Григорьевича Долгорукова. Для открытия бала Петр Алексеевич пригласил тетку, цесаревну Елизавету, с которой и начал первый контрданс. Император и цесаревна бесспорно составляли самую красивую пару. Государь в последние месяцы заметно изменился, вырос, похудел, все черты сделались резче, и он, вкусивши от прелестей мира сего, казался гораздо старше двенадцати лет. В его больших голубых глазах, постоянно смотревших на свою даму, блестел далеко не детский огонек, а на побледневших щеках горел густой румянец, вспыхивавший яркою краскою каждый раз, когда голова его наклонялась к тетке. Для Елизаветы Петровны, которой в то время только что минуло двадцать лет, наступил тот возраст, в котором женская красота владеет полным очарованием. И невольно, смотря на эту парочку, приходила мысль, что, пожалуй, шальной Андрей Иванович едва ли не был прав в прожекте совокупления двух царственных ветвей.

Тетка и племянник танцевали естественно, с изумительною привлекательною грациею, хотя, отдавшись оживленному разговору, по-видимому, нисколько не заботились о выделянии па.

– Отчего, государь, Наташи нет? – спрашивала тетка.

– Вчера и сегодня я ее не видал. Андрей Иванович говорит, будто больна, да я думаю, совсем не от болезни.

– А отчего же?

– Ревнует, Лиза, к тебе.

– Ко мне? – удивилась тетка. – С какой стати? Ты так ее любишь!

– Люблю ее, а тебя больше, много больше... Тебя очень, очень люблю... Как никогда не любил и никогда не буду.

– Полно, Петруша, ты молод очень, не понимаешь еще, что такое любовь, – с улыбкою, но наставительно заметила цесаревна.

– Что ты, Лиза, меня все коришь, молод да молод... Не ребенок я и понимаю, все понимаю, – с грустью и слезами в голосе порывисто шептал государь.

– Что же ты понимаешь, Петя?

– А то, что ты меня никогда не любила и не любишь.

– Вот и совсем неправда... Хочешь докажу тебе?

– Докажи, Лиза, – умолял племянник.

Цесаревна приняла серьезный вид и с комическою важностью стала декламировать слова, написанные государем сестре своей на другой день после восшествия своего на престол, а потом, через несколько недель, высказанные им лично в заседании Верховного тайного совета:

«Богу угодно было призвать меня на престол в юных летах. Моею первою заботою будет приобрести славу доброго государя. Хочу управлять богобоязненно и справедливо. Желая оказывать покровительство бедным, облегчать всех страждущих; выслушивать невинно преследуемых, когда они станут прибегать ко мне, и по примеру римского императора Веспасиана никого не отпускать от себя с печальным лицом».

– Видишь, как люблю тебя, выучила наизусть... Какие хорошие мысли у тебя, Петруша!

– Не мои они, Лиза, Андрей Иванович написал и дал мне выучить, – уныло сознался государь, но потом быстро добавил: – Но не думай, Лиза, я и сам могу написать не хуже.

– Верю, государь, твои воспитатели с отменною похвалою отзываются о твоих способностях. Все говорят, что ты развит не по летам.

– Опять, Лиза, годы, – упрекнул племянник.

– Что же делать, Петруша, не виновата же я, что родилась твоею теткою и за столько лет прежде тебя.

– А я не хочу иметь тебя теткою!

– А чем же, Петруша?

– Моею женою, – решительно высказал государь.

Лицо цесаревны сделалось серьезно, как будто какое-то облачко не то нерешительности, не то сожаления пробежало по нему; но это мелькнуло моментально, и тотчас же с прежнею ласковою улыбкою она обратилась к своему влюбленному кавалеру:

– Какой ты упрямец, Петруша, сколько раз я тебя просила не говорить мне об этом... Я тебя люблю как племянника, как брата, как дорогого друга, но не могу любить как мужа... Вспомни, что тебе только двенадцать лет, а мне за двадцать, чуть не старуха! Какая же пара! Посмотри, сколько хорошеньких молоденьких девушек! – уговаривала цесаревна, указывая на танцующих дам.

– Мне никого не нужно, кроме тебя! – упрямо настаивал племянник. – А я знаю, Лиза, почему ты не хочешь быть моею женою.

– Отчего же, по-твоему, государь?

– Ты любишь кого-нибудь, и я подозреваю кого...

– Ну говори, а я сама не знаю.

– Бутурлина Александра Борисовича. Вчера я застал его у тебя... Ты была так ласкова, так счастлива.

От неожиданности замечания и от пытливого взгляда ребенка-государя цесаревна смутилась, немного покраснела, но до того немного, что это укрылось даже от ревнивого взгляда влюбленного.

– Александр Борисович хороший человек, такой добрый, веселый, с ним приятно иной раз поговорить, но я его не люблю, да и никого не люблю, – серьезно оправдывалась тетка.

– Спасибо за это, Лиза. Так решительно никого не любишь?

– Никого.

– И если за меня не пойдешь, так и за другого ни за кого не выйдешь, никогда? Обещай мне это!

– Охотно. Петруша. Я и сама хотела просить тебя запретить Андрею Ивановичу заниматься моею судьбою и сватать за кого бы то ни было. Ни за кого не пойду. Просватана была раз, полюбила жениха... умер... Значит, не судил Господь мне счастья!

Во второй паре, по желанию государя, требовавшего всегда подле себя присутствия любимца, танцевал Иван Алексеевич Долгоруков с Натальей Борисовной Шереметевой. Молодой человек увидел свою даму на этом балу в первый раз, и какое-то новое, еще никогда не испытанное им чувство произвел на него этот только что распускающийся цветок. Ему, известному женскому сердцееду, менявшему любовниц едва ли не чаще своего белья, бесстыдному в клятвах и обольщениях, вдруг стало неловко, как будто стыдно встречать эти тихие глубокие глаза, в которых так ясно и полно отражалась вся чистота девственных чувств. Ни один из обычных приемов ловеласничества теперь не приходил ему в голову; он не знает, как и о чем ему говорить, так все прежние волокитства кажутся ему грязными и пошлыми.

– Вы знаете, графиня, что государь назначил охоту на будущей неделе? – наконец придумал он начать разговор.

– Слышала, князь, – коротко и спокойно отозвалась молодая девушка.

– С нами едут цесаревна, княжна Наталья Алексеевна и мои сестры. Не присоединитесь ли и вы, графиня?

– Я не понимаю удовольствий охоты, князь, никогда не бывала... да если бы и понимала, то теперь не могла бы. Бабушка так слаба, что едва в состоянии выезжать со мною в город.

На этом разговор и оборвался. Первый контрданс кончился; кавалеры, расшаркиваясь, целовали ручки у дам по моде того времени; государь поцеловал у цесаревны щеку.

– Второй контрданс со мною, Лиза? – спрашивал он у тетки.

– Как прикажешь, государь.

– Не приказываю, Лиза, а прошу.

– С удовольствием. Мне так с тобою приятно, Петруша.

Антракт продолжался недолго; по приказанию государя музыка заиграла второй контрданс, в продолжение которого все заметили те же оживленные разговоры у государя с цесаревною. Ребенок не сдерживал своих чувств, не хотел знать ни о каких пересудах и сплетнях.

Вслед за вторым контрдансом следовал третий. Государь опять танцевал с красавицею теткою, но на этот раз придворные подметили какую-то ссору в царственной паре. По окончании танца государь не поцеловал тетку, не остался около нее, а, напротив, быстро, даже не поблагодарив, как бы следовало по законам этикета, убежал в соседнюю комнату, где и уселся в углу. Все заметили, не показав, впрочем, виду, как крупные слезы нависали на его длинных ресницах и как падали они, уступая место другим. Попытался было подойти к государю барон Андрей Иванович, но тот с ожесточением отмахнулся рукою.

Между тем танцы продолжались. Из залы доносилось под звуки музыки шуршание платьев и глухой неопределенный говор. Успокоившись несколько, государь встал и подошел к дверям, откуда можно было видеть всех танцующих. Глаза его быстро окинули все группы и остановились на тетке, танцевавшей четвертый контрданс с его задушевным другом Иваном Алексеевичем. Болезненно сжалось от ревности юное сердце. «Вот я мучаюсь, страдаю, – шепчет он, – а она по-прежнему весела, даже веселее... С какою неприличною ласкою она смотрит на своего кавалера... Отвечает... Да и какой же дерзкий этот Иван, как нахально наклоняется к ней, любит, что-то шепчет, чуть не на ухо?» И, не выдержав более, государь порывисто подходит к паре и делает строгий выговор своему обер-камергеру за неисполнение его обязанностей, а каких – неизвестно. Не привыкший к выговорам фаворит с изумлением смотрит на государя, не зная, чем заслужил немилость, но у государя жгучая ревность прошла, и он по-прежнему ласково смотрит на любимца.

На другой стороне дворца, в апартаментах государыни царевны, тихо, туда изредка едва-едва доносятся отдельные музыкальные звуки. Царевна сидит в ночной блузе в постели; ей не хочется спать, ей тяжело, очень тяжело, но тяжело не от физической боли, и не по болезни она отказалась от бала. Подле кровати на кресле поместилась ее любимая нянька, или гофмейстерина, Роо, рыжая немка, сумевшая обрусеть, оставаясь верною милой далекой родине, и успевшая привязаться к своим обоим царственным питомцам, а в особенности к девушке-царевне.

– Скучно. Расскажи что-нибудь, няня милая, – говорит царевна, полузакрывая глаза.

И няня начинает монотонным голосом одну из старых легенд седой старины своей милой родины, столько раз уже рассказанную; под этот монотонный говор девушка думает свою думу. Вспомнила она все еще такое недавнее детство с милым братом, круглыми сиротами в чужой семье, под надзором чужой бабушки, хотя женщины и незлой, но у которой свои кровные дети. И росли они, брат и сестра, инстинктивно чувствуя, что ни в ком не найти им теплого, родного привета, кроме как друг у друга; с колыбели сознавая, что в их особом мире они только и счастливы, росли они неразлучными друзьями. Она, как старшая годом брата, болезненнее – у нее постоянно болит грудь и кашель – и развитее чувством, привыкла смотреть на него как на существо, неотделимое от себя. Росли они до того времени, когда вдруг странная судьба неожиданно поставила ее брата в исключительное положение самодержавного императора. В первое время эта перемена не влияла на их отношения, брат оставался все прежним же милым, неизменным другом, но потом постепенно стали являться лица, отводившие от нее брата. Явились любимцы, познакомившие его с какими-то нехорошими делами, наконец, встала между

ними и женщина как самый опасный враг – тетка Елизавета. О, как ненавидит она эту женщину! «Как странно, – спрашивала себя царица, – ведь всегда и прежде он видел тетку-красавицу, а не замечал же. Отчего же вдруг она словно приколдовала его, обворожила до того, что он забыл сестру свою, и готов для нее бросить все и всех». Ведь вот и теперь она сказала больную, да и действительно грудь сильно ноет, а он даже целый день не наведаясь об ней и, верно, теперь танцует, ни разу не вспомнив о сестре. Добрый Андрей Иванович утешает, говорит: это пройдет, что это только напускное от злых людей, будто ненадолго, но пройдет ли! А может быть, она сделается его женою? «Тогда я умру...» И с царевною сделался сильный припадок кашля, а на прижатом к губам платке показалось кровавое пятно.

III

Князь Иван Алексеевич Долгоруков – не античный герой, в своей кратковременной жизни не отличился никаким прославленным подвигом во всемирной истории, не был ни вожаком партийным, ни представителем какой-либо политической идеи, напротив, сам был чистейшим продуктом и выразителем современных ему общественных условий, был отъявленный повеса, не знавший удержу, и если представляет собою интерес, то разве только для одного психолога. Иван Алексеевич¹ родился первенцем если не любви, то простого супружеского сожительства князя Алексея Григорьевича Долгорукова и Прасковьи Юрьевны, урожденной княжны Хованской, и первенцем, вразрез общего мнения, нелюбимым. Оттого ли, что Алексей Григорьевич и Прасковья Юрьевна венчались по приказу родителей, в виде приличной партии, и не успели еще спеться, или по какой-нибудь другой неизвестной причине, но ни отец, ни мать не встретили свое первое чадо родительскою любовью и ласками. Но если ребенок не видел ласкового привета от родителей, то зато встретил обилие нежной ласки от своих деда и бабушки. Дедушка Григорий Федорович, а в особенности старушка бабушка полюбили ребенка с тою беспредельною привязчивостью, которая так часто присасывается к последним нашим земным привязанностям. Бабушка предсказывала в ребенке-внуке будущего красавца, будущего умницу, одаренного всеми земными благами, и имела, впрочем, полное право верить своим предсказаниям. Ребенок Ванюша рос очень красивым мальчуганом. Нельзя было не залюбоваться его розовым милым оживленным личиком, обрамленным шелковистыми кудрями, с большими голубенькими глазками, бойко и весело смотревшими из-под пушистых ресниц, с алыми пухлыми губками нежно очертанного рта.

Без границ бабушка любила внука, и ребенок почти постоянно гостил у нее, вдоволь наедаясь разными сладостями и поцелуями. Ребенку минуло семь лет, когда первое горе надвинулось было над его курчавою головкою: Григорий Федорович получил назначение быть посланником в Варшаве при дворе короля Августа II. Приходилось расставаться, но бабушка и внук до того ревели, до того привязались друг к другу, что Григорий Федорович предложил сыну Алексею Григорьевичу отдать Ванюшу ему на воспитание, обещаясь сделать из него будущего великого дипломата. Разумеется, Алексей Григорьевич и Прасковья Юрьевна обрадовались предложению и поспешили согласиться – одним крикливым ртом в доме меньше, да к тому же и не надобно было заботиться о воспитании. В то время по указу Петра Великого все молодые люди родовитых фамилий должны были получать образование за границею; конечно, о таком образовании Ванюши рано еще было думать, но, во-первых, такого удобного случая в будущем может не встретиться, а, во-вторых, еще лучше, если не только образование, но и все воспитание будет заграничное.

В Варшаве зажилась Ванюша привольно. Квартира русского посольства большая, убранная роскошно, так как Петр Великий, скарденный эконом в домашнем быту любил обставлять внушительно в иноземных царствах русское представительство. За домом тянулся тенистый сад на версту – есть где побегать. В гости к дедушке и бабушке наезжают все такие нарядные да

ласковые, с панычами и паненками. Год пролетел незаметно, а на другой Григорий Федорович посадил мальчугана за книжку, пригласил учителя, а в виде наблюдателя за образованием приставил к нему известного в то время развитого человека Генриха Фика, того самого, который помогал великому преобразователю вводить комментальные порядки и с которым так дружен был князь Дмитрий Михайлович Голицын. Конечно, ученость Фика мало приносила пользы ребенку, которому нужен был простой букварь, а не ученый трактат, но все-таки иное слово нет-нет да и западет в умную головку.

Впрочем, учением не особенно морили Ванюшу: всего каких-нибудь час или два в день, да и некогда было. Только что, бывало, усядутся в классной комнате, а к подъезду подкатывает объемистый рыдван с панычами и паненками, звонкие голоса которых громко раздаются в передней. Ванюша был милый мальчик, с общительным, открытым характером, мудрено ли, что молоденькие гости полюбили его, в особенности паненки. Зацелует, бывало, иная хорошенькая паненочка русского медвежонка, а русскому медвежонку это нравится, и с лихвою возвращает он данные взаймы поцелуи. Молодежь брала пример с взрослых, а взрослые, в особенности придворного круга, отличались крайнею легкостью нравов. Около трона короля Августа II кружились роями обольстительные красавицы, интриговавшие розовыми губками гораздо действеннее своих усатых панов и, в сущности, управлявшие государством.

К тринадцатому году Ванюша выровнялся стройным, красивым возмужалым мальчиком, на которого засматривались не одни девочки, а уже и более взрослые подростки. В ласках девочек не было прежнего открытого излияния; порою начинались романтические авантюры. Затем, в следующем году, Ванюша, которого стали называть Иваном Алексеевичем, испытал обольщение запрещенным плодом, отчего окончательно развратилась его легкомысленная головка.

У стариков Долгоруковых нередко гащивала дочь одной приятельницы бабушки, Гедвига, девушка лет за тридцать, несколько поблеклой красоты, но с помощью различной косметики все еще смотревшаяся юною и красивою. Отчего не вышла замуж Гедвига в пору своей первой юности, никому не было известно в подробности, хотя ходили темные слухи о каких-то интимных отношениях ее с каким-то бедным шляхтичем, о каком-то плоде любви, потом исчезнувшем вместе со шляхтичем неизвестно куда, но все это были только одни слухи по зависти. Сама же красавица Гедвига объясняла свое одиночество своим отвращением к брачному сожителю, своим невыгодным мнением о всех мужчинах вообще и о польских кавалерах в особенности. Панна Гедвига казалась тихой, скромною, безупречно нравственною девушкою, любившею пошутить только с мальчиками-подростками, из которых, видимо, отличала Ванюшу, на котором чаще и упорнее покоился ее взгляд.

Раз в последних числах мая, когда Гедвига гостила у бабушки, старики Долгоруковы собрались навестить по приглашению одного влиятельного магната его в фамильном замке недалеко от Варшавы. Так как визит должен был продолжаться до вечера, а взять Ванюшу с собою было нельзя, то бабушка, уезжая, поручила Гедвиге строго смотреть за Ванюшею, а ему во всем слушаться гостя. Все шло по порядку, и никакой авантюры не предвиделось. Вскоре после отъезда стариков пришел учитель, Ванюша занимался с ним, по обыкновению, довольно лениво и, по обыкновению же, рад был, когда учитель ушел, задав уроки к следующему дню. Ванюша собрал все учебные принадлежности и подошел к открытому окну. День был безоблачный, жаркий, воздух не освежал, а как-то нежил, расслаблял, волновал кровь.

– Тебе скучно, мой милый мальчик? – раздался позади его серебристый, ласкающий голосок.

Ванюша быстро обернулся и увидел всю облитую солнечными лучами улыбающуюся Гедвигу, тихо положившую свою тонкую ручку на его плечо.

– И мне скучно... Пойдем ко мне.

Ванюша не раз бывал в девичьей комнате Гедвиги, но теперь он переступал порог с каким-то особенным чувством. Странное приятное ощущение пробежало по его нервам от

этой душистой атмосферы, от этих пушистых ковров, поглощающих звуки, от этой белоснежной кровати.

Прежде бойкий Ванюша теперь как будто чего-то смутился и робко опустил в кресло, а между тем он не мог оторвать глаз от обольстительной надзирательницы, которая так близко к нему, так близко, что ее обнаженное плечо касается к нему, прижимается.

– Как жарко, милый Ваня, дышать нельзя, – шепчет она, распуская свои темные волосы густыми волнистыми прядями, из которых выглядывало ее личико еще нежнее, еще белее. Гедвиге, видимо, трудно дышится, грудь ее поднимается порывисто и высоко, а горячее дыхание жжет ребенка.

– Какой ты бледненький, милый, – снова шепчет она, – истомили тебя... Что за учение в такую духоту! Хочешь, я принесу тебе освежиться? – И она вышла в другую комнату. Через несколько минут Гедвига воротилась уже в белом кружевном пеньюаре с двумя рюмками вина.

Ванюша с жадностью выпил рюмку, но не освежение, а, напротив, точно палящий огонь полился по всем его жилам и затуманил голову. Он не сознавал, как они оба очутились на постели, как ее белые ручки, не скрываемые широкими рукавами, обвили кругом его шеи... как они слились губами... как опустились.

Во весь этот роковой день, погубивший всю будущность Ванюши, разнудавший безнравственные инстинкты, развитые привольною придворною жизнью, ребенок чувствовал себя как в чаду. Ему было и стыдно и приятно. Стыдно было взглянуть на старого дворецкого Ивана Парамоньча; всё, казалось, будто странно сурово и подозрительно смотрят старые глаза из-под седых бровей; даже и казачонок Федотка служит не так, как всегда, а словно подмигивает да подсмеивается. Вместе с тем было и приятно чувствовать себя, что я, дескать, уж большой, сделался любовником, да еще не какой-нибудь служанки, а красивой панны из хорошего дома. Особенно стыдно было Ванюше на другой день встретить любящий взгляд бабушки, выслушать вопрос ее: слушался ли Гедвигу? А потом еще стыднее при всех поздороваться с любовницею. Никто, однако же, ничего не замечал, и Гедвига продолжала развращать ребенка все успешнее и успешнее; не стыдясь и не краснея, Ванюша стал входить в ее комнату... Недолго, впрочем, продолжалось счастье Гедвиги. Скоро ей пришлось горько раскаяться в своем преступном деле. Ванюша, сначала так гордившийся своею неожиданною победою, такой влюбленный в свою очаровательницу, скоро, и очень скоро, стал находить ее и несвежую, и вовсе не привлекательною. Снова его потянули к себе те молоденькие паненки, которых недавно он так невинно, не краснея, и всенародно целовал.

Из всех сверстников-паньчей Ванюша сделался самым развязным и озорным, хотя и они не могли похвалиться особенною застенчивостью. Но при всей своей испорченности Ванюша остался прежним добрым мальчиком, отзывчивым на все благородное, чутьем понимавшим хорошее, хотя и легко увлекающимся дурными примерами. Во всех его дерзких, иногда бездумных по летам озорствах проглядывала легкомысленность, но никогда подлость или низость. Напротив, сколько раз ему случалось быть перед товарищами-паньчами, несмотря на их насмешки, самым горячим защитником обиженных и угнетенных. Раз, например, в доме одного богатого пана Боржковского польские паньчи вздумали было поглумиться над своим учителем из немцев, добродушнейшим и невиннейшим существом; поглумиться не прочь был и Ванюша, но не одобрил способа глумления, отвратительного и унижающего человеческое достоинство мирного педагога. Ванюша тотчас же заступился за жертву, и товарищи уступили перед его воинственною позою, засученными рукавами и диким огоньком засверкавших глаз. Нередко на охоте, когда какой-нибудь надменный паньч ради забавы ни за что ни про что начинал стегать арапником бедного ободранного хлопца, Ванюша расплачивался за хлопца здоровою затрещиною.

И однако же все паньчи, не говоря уже о паненках, любили веселого Ванюшу. Жизнь его текла привольно в доме старого дедушки. Бабушка смотрела на все его проказы сквозь

пальцы, а самому Григорию Федоровичу некогда было наблюдать за мальчиком, отчасти за постоянными хлопотами по дипломатическим поручениям, которыми не уставал наделять его неугомонный реформатор, а отчасти по постепенно усиливавшемуся нездоровью. Григорий Федорович страдал подагрой.

Неизвестно, заметил ли государь какую-нибудь неисправность в деятельности нашего польского посольства или вследствие просьбы самого посланника Григория Федоровича, но только его отозвали в Петербург, а вместо него приехал в Варшаву сын его Сергей Григорьевич Долгоруков, на попечение которого для окончательного образования должен был перейти и наш Ванюша. Горько плакала бабушка, расставаясь с внуком, нелегко было и внуку. Кроме того что он лишился любви и нежности, самая свобода его стеснилась более бдительным надзором дяди. Избалованному ласками племяннику трудно пришлось уживаться с новыми порядками; он не слушался, вызывал беспрерывно замечания и внушения. Так продолжалось года полтора и наконец кончилось тем, что по жалобам брата Алексей Григорьевич вызвал сына к себе.

Пятнадцатилетний Иван Алексеевич по возвращении на родину поселился в родной семье при отце, занимавшем тогда довольно видное место президента Главного магистрата. Отвыкшая от Ванюши семья встретила его недружелюбно, в особенности отец, осыпавший сына градом упреков и язвительной брани. Алексей Григорьевич корил сына за леность, нерадение, за напрасно потраченное время за границей, корил за то, что только и было хорошего в характере сына: за прямодушие, непрактичность, за неумение прислужиться где следует. Полтора с лишком года терпел Иван Алексеевич домашнюю пытку, вплоть до своего назначения, при восшествии на престол Екатерины I, на место гофюнкера при царевиче Петре Алексеевиче.

Судьба улыбнулась Ивану Алексеевичу. Десятилетний царевич искренне и горячо любил своего семнадцатилетнего гофюнкера, такого веселого, такого симпатичного, умевшего так хорошо забавлять его. Царевич до того привязался к своему новому другу, что не мог расстаться с ним ни на один день, ни на один час. Когда по болезни Иван Алексеевич не являлся в апартаменты царевича, тот приказывал переносить в комнату гофюнкера свои занятия, свои игрушки и даже свою постель. Положение царевича при бабушке, хотя и неродной, сразу улучшилось. При жизни деда на царевича никто не обращал никакого внимания, за воспитанием никто не следил; дед не хотел удостоверяться лично в познаниях внука, даже не исполнил просьбы о том воспитателей, хваливших способности и любознательность ребенка. Все знали тайные желания деда передать наследство детям любезной Катеринушки; все умышленно и неумышленно забывали о ребенке.

Со своей стороны, и ребенок не любил и боялся сурового, никогда не ласкавшего его деда, так беспощадно сгубившего своего сына, а его отца, о трагической смерти которого услужливые люди успели ему передать под великим секретом. Под влиянием этих рассказов ребенок рано познакомился с мучительным чувством мести, но так как детское сердце не может питаться одним злобным чувством и не может обойтись без любви, то царевич с еще большею силою привязался к своему другу гофюнкеру. Иван Алексеевич едва ли не первый высказал царевичу и чувство личной привязанности, и чувство преданности к будущему наследнику престола: едва ли не первый он опустился перед ребенком на колени как перед будущим государем.

К счастью для царевича, Екатерина, любившая своих дочерей не до ослепления, ясно понимала их положение. Сама обязанная престолом, несмотря на свое коронование покойным мужем-государем, единственно энергии нескольких решительных и влиятельных лиц, она понимала невозможность передать престол дочерям, удел которых замужество за каким-нибудь иностранным принцем, а не самодержавство в России, где искони привыкли к преемству самодержавной власти по мужской линии. Она понимала, что по смерти ее русские всех партий и всех убеждений сойдутся в одной мысли о законности наследства сына царевича

Алексея Петровича, и, к чести ее, она не возненавидела этого ребенка, не постаралась убрать его, а, напротив, приблизила и полюбила, насколько могла полюбить.

Вслед за государынею признал права ребенка и нерушимый статуи, светлейший князь Меншиков.

IV

Два года правления Екатерины I были едва ли не самыми счастливыми годами в жизни будущего государя и его любимца. Нестрогое учение, потом разные забавы, охоты в петергофских лесах, катания – время летело незаметно. Молодой гофюнкер умел разнообразить удовольствия и вместе с тем сумел не мозолить собою жадности других. Его почти все полюбили, за исключением, разумеется, близких родных; из родственников Долгоруковых он сошелся только с одним Федором Васильевичем, тоже молодым человеком, но совершенно противоположного характера. Насколько Иван Алексеевич был боек и решителен, настолько же Федор Васильевич скромн и тих; впрочем, были в них и сходные черты – доброе, отзывчивое сердце и отсутствие долгоруковского честолюбия. Оба друга считались чужаками в родных семьях. В одну из минут откровенности, под влиянием лишней рюмки, Федор Васильевич признался новому другу и родственнику в любви своей к старшей дочери нерушимого статуи, Марье Александровне Меншиковой.

– А она тебя любит? – спросил Иван Алексеевич.

Федор Васильевич печально опустил голову.

– Как же это? – недоумевал Иван Алексеевич, никак не могший понять возможности любить девушку и не быть любимым; в его многосложной практике такой странности еще не случилось.

– Она любит молодого графа Петра Сапегу, сына Яна, старосты бобруйского, а нашего фельдмаршала, и, говорят, скоро выйдет за него замуж, – объяснил Федор Васильевич.

– Не выйдет, брат Федя, утешься. Вчера, как я был у императрицы с царевичем, так слышал разговор светлейшего с Екатериною Алексеевною. Сапега женится, да только не на Меншиковой, а на племяннице государыни Софье Карловне Скавронской.

Федор Васильевич оживился было, но потом снова затуманился.

– От этого нелегче, – проговорил он. – Если Александр Данилыч не выдаст за Сапегу, так за кого-нибудь другого, но выше, брат Ваня, нас с тобою.

– Ну, об этом еще бабушка надвое сказала... Случай-то такой странный... а то я бы знал, как сделать.

Светлейший Александр Данилович действительно забирался высоко. Уверившись, что по крайне расстроившемуся здоровью императрица долго прожить не могла, он принялся действовать энергически относительно определения престолонаследия, не упуская из виду своих выгод и интереса. Выгоднее же всего при существующем положении представлялась кандидатура Петра II. При таком выборе удовлетворялось общее желание всех русских, отдалялась немецкая партия голштинцев, не раз становившаяся ему поперек дороги, и, наконец, при малолетстве государя явилась полная возможность захватить всю власть в свои руки. В успехе Александр Данилович не мог сомневаться; он слишком хорошо, до мельчайших тонкостей изучил характер императрицы, как-то расплывшейся и обезличившейся после смерти мужа. Притом же в его руках сосредоточивались все силы: сила войска, привыкшего ему повиноваться, сила громадных денежных средств и, наконец, сила поддержки иностранных дворов. Имперский посланник Рабутин и датский Вестфален не уставали подстрекать его на попытку в пользу Петра. Для обоих этих дворов воцарение малолетнего государя составляло живой интерес: при Петре II, сыне сестры австро-венгерской императрицы, венский кабинет всегда мог рассчитывать на поддержку России во всех политических комбинациях; для Дании же важно

было отстранение по шлезвигскому вопросу голштинской претензии, которая, естественно, возникла бы при усилившемся влиянии голштинского герцога, мужа Анны Петровны.

Одно только еще останавливало Александра Даниловича – это бывшее оскорбительное и жестокое отношение его к царевичу Алексею Петровичу, о котором, вероятно, позаботились передать сыну. Но и это затруднение услужливые дипломаты устранили. «Почему бы молодому государю и не жениться на дочери светлейшего князя?» – шепнул Рабутин Данилычу в дружеской беседе, и Данилыч ухватился за эту мысль, исполнение которой ставило его в весьма прочное положение тестя государя. Светлейший соединил оба вопроса, о наследстве и о браке, в один и, не встретив в государыне серьезного противодействия, успел в обоих.

Однако же, как ни скрытно вел игру свою светлейший князь, но об ней скоро догадались. Перепугались все, испугалась цесаревна Анна Петровна с мужем, испугалась цесаревна Елизавета, испугались все палачи Алексея Петровича – Толстой и Ушаков с К⁰, испугались все личные враги Александра Даниловича, которых было немало и впереди которых самым злейшим врагом стоял шурин Данилыча, генерал Девьер. Велика была вражеская партия числом, но слаба единством и энергиею; дорогое время проходило в переговорах и условиях, каждый старался выставить другого, а самому спрятаться за его спину. Сделали попытку только одни цесаревны: они на коленях и рыдая умоляли мать не соглашаться на брак Петра с дочерью Меншикова, но ослабевшая императрица на этот раз сказала решительно, что о браке кончено, воротить своего слова не может, но что вопрос о наследстве еще не решен.

В то время как трусили и медлили враги, не трусил Александр Данилович. С обычною своею энергиею он принял быстрые и решительные меры против недругов и, воспользовавшись первою необузданною опрометчивостью шурина, назначил над ним инквизицию. Поводом к розыску послужили оскорбительные будто бы выходки генерала с цесаревнами и великим князем. Цесаревна Елизавета и великий князь рассказывали, что будто Девьер в один из дней, когда императрице было особенно дурно, не только не печалился, а, напротив, веселился, плакавшую племянницу государыни, Софью Карловну, вертел, словно танцуя, не соблюдая «должного рабского респекта», советовал цесаревне не печалиться, а выпить рюмку вина; в комнатах же великого князя вел себя еще неуважительнее, садился на государеву постель, приглашал князя кататься с собою в коляске, обещал после смерти императрицы ему полную волю и подсмеивался, как будут волочиться за государынею-невестою.

Существенною целью назначения следствия, конечно, было не раскрытие оскорбительных выходок, которые видны были и сами собою, а розыск заговора и участия заговорщиков. И цель была вполне достигнута: не вытерпев пыток, Девьер сознался во всех переговорах и выдал всех соучастников.

Императрица-мать, успокаивая своих дочерей относительно наследства престола, или обманывала их, или обманывала себя; при ослабевших от болезни силах она иногда теряла ясное сознание.

Утром, в день смерти государыни, тотчас же по выходе дочерей в спальню к ней вошел Александр Данилович с бумагами в руке.

– Вот, государыня, проект завещания, о котором вы приказали, насчет бракосочетания великого князя с моею дочерью и о наследстве престола, – доложил Александр Данилович, подвигая к постели столик с пером и чернильницею.

– Хорошо, князь, оставь... прочту... – проговорила едва слышно императрица.

– Нет, государыня, откладывать нельзя, – настаивал князь Меншиков. – Дела такой важности не откладываются... Если бы я медлил да не решался два года назад, так вам бы не властвовать... Да и зачем откладывать? Все написано в бумаге, как приказывали.

Государыня покорно приподнялась на подушки и, поддерживаемая князем, с трудом написала бумагу. Но это было не все. Вслед за первую бумагою светлейший подложил другую.

– А это что? – испуганно спросила императрица, совсем уже теряя силы.

– Это весьма нужное распоряжение для спокойствия государства, – уклончиво отвечал князь.

Государыня подписала и эту бумагу, не читая.

В последней бумаге содержался указ императрицы о наказаниях тем лицам, которые желали не допустить к русскому престолу великого князя Петра, собственно, как зятя Меншикова. Указом предписывалось: генерал-лейтенанта графа Антона Девьера и Григория Петровича Скорнякова-Писарева – знаменитого следователя по обвинению Евдокии Федоровны – по лишении чинов, чести и имущества наказать кнутом и сослать в Тобольск; графа Петра Андреевича Толстого с сыном Иваном сослать в Соловецкий монастырь на строгое заточение; генерала Бутурлина и Александра Львовича Нарышкина по лишении чинов сослать на безвыездное житье в отдаленные деревни; князя Ивана Алексеевича Долгорукова выслать из столицы в полевой полк поручиком.

К вечеру положение больной государыни стало ухудшаться с каждым часом. По симптомам болезни императрица страдала чахоткою, но так как ясные признаки болезни явились, когда государыне было за сорок лет, то можно было бы надеяться на весьма медленный ход. К несчастью, государыня не береглась, не исполняла предписаний докторов и вся отдавалась удовольствиям. Болезнь стала быстро развиваться, и еще в половине апреля доктора опасались за ее жизнь; но тогда опасность миновала, государыне сделалось легче, появился укрепляющий сон, а вместе с ним и надежда на излечение. Впрочем, облегчение продолжалось недолго; вскоре в легких больной образовался нарыв, который сначала затруднял дыхание, а потом, прорвавшись 7 мая, повлек за собой смерть. Екатерина Алексеевна умерла в восемь часов вечера тихо, спокойно, жадно глотая весенний воздух и любуясь последними лучами заходящего солнца.

На другой день с рассветом во дворце началось особенное движение; вся гвардия, состоявшая тогда из двух полков, Преображенского и Семеновского, расставлена кругом у окон, а к подъезду подъезжают экипажи знатных персон, членов Верховного тайного совета, генералитета, сановников, высшего духовенства и дворянства. В зале открылось торжественное заседание в присутствии двенадцатилетнего государя Петра II, сидевшего в кресле на возвышении под балдахин; кругом государя, на стульях, сидели цесаревна Анна Петровна с мужем, цесаревна Елизавета Петровна, родная сестра государя княжна Наталья Алексеевна и главные вожаки: адмирал Апраксин, канцлер Головкин, князь Дмитрий Михайлович Голицын, светлейший князь Меншиков, а позади кресла стоял вице-канцлер и воспитатель барон Андрей Иванович Остерман.

По распоряжению Александра Даниловича принесли и громко прочитали духовное завещание покойной императрицы, по которому преемником назначался Петр II с обязательством бракосочетания с княжной Меншиковой. Все присутствующие единогласно крикнули: «Виват!» Не слышалось никакого протеста, только фельдмаршал Сапега вполголоса и нерешительно заметил, что он не отходил от умиравшей государыни, но никакого завещания не видел и не слышал об его подписании. На заявление фельдмаршала не обратили никакого внимания; вероятно, не слышали, да если бы и слышали, то не придали бы ему никакого значения. На наследство Петра II все государство смотрело как на дело такое законное, что во многих епархиях давно уже без всякого распоряжения местным духовенством на ектениях возглашалось моление о здравии и благоденствии наследника престола Петра II.

Между тем как во дворце происходила торжественная церемония восшествия на престол, в доме князя Алексея Григорьевича Долгорукова готовились к проводам в полк бедного гофюнкера Ивана Алексеевича. Невеселы были проводы, неласково выкрикивал голос отца, покрывавший шум и суету дорожных сборов.

– Молокосос! Матернее молоко на губах не обсохло, а туда же, заговоры сочинять! Как же! Я, мол, с светлейшим вздумал тягаться! Какая важная птица – гофюнкер! Выклянчил я

тебе это место, так и на нем не умел усидеть! – выкрикивал, то повышая, то понижая голос, князь Алексей Григорьевич, привыкший придирается к сыну за все.

– Вы сами ведь знаете, батюшка, что никаких заговоров я не сочинял, в них не участвовал, а если говорили при мне, надеясь на мое благородство, так доносить не приходилось, нечестно, – оправдывался сын.

– Как же... неблагородно! А вот благородно теперь князю Долгорукову служить поручиком в напольном полку? Вот и сиди в глуши, высиживай цыплят... Хорошо благородство... нечего сказать. А если бы шепнул светлейшему, вот, мол, так и так... в гору бы пошел, Долгоруковым бы честь.

– На такую честь не способен я и доносчиком никогда не буду, – решительно отозвался Иван Алексеевич. – Буду служить в напольном полку, и там тоже живут люди... Да, думаю, служить-то там долго не придется... Государь не забудет меня!

– Как же, дожидайся!.. Будет помнить! Только и заботы-то, что об Иване Алексеевиче!.. Не очень-то рассчитывайте, доблестный рыцарь... Государь из воли будущего тестюшки не выйдет.

С руганью простился с сыном Алексей Григорьевич, неласково простилась и мать, боявшая показать сыну при отце любовь и нежность, точно так же недружелюбно проводили братья и сестры, а в особенности старшая, Катерина, видимо, нелюбившая старшего брата.

Иван Алексеевич действительно недолго жил в полку. Не успел он доехать до места назначения, как вслед за ним был получен указ, призывавший его опять к прежнему же посту при дворе. Государь, затосковав о своем друге, стал неотступно просить будущего тестя и главу правительства о возвращении любимца. Александр Данилович легко согласился на просьбу – молодой гофюнкер не заявлял никаких честолюбивых стремлений, не казался опасным да и в заговоре недругов не участвовал.

По смерти императрицы светлейший князь сделался еще гордее. Получив сан генералиссимуса и титул нареченного тестя государя, Александр Данилович, в обольщении своего высокого положения и своих громадных заслуг, не обращал внимания на мелких людей, обходился со всеми кичливо и с нестерпимым высокомерием; даже с самим государем отношения его были надменны и повелительны, как будущего отца, которого слово должно быть законом. Зная, что образование государя в ребячестве было пренебрежено, он теперь захотел загладить прошлое усиленным учением и потребовал от ребенка занятий, к которым тот не привык, которому такие занятия казались тяжелыми.

Иван Алексеевич воротился. Государь обрадовался так, как никогда еще не радовался. Казалось, короткое отсутствие любимца еще более скрепило их связь. Иван Алексеевич полюбил великого князя без всяких видов и честолюбивых стремлений, беззаветно, и немудрено, что эта любовь вызвала страстный отклик в нежном сердце, не избалованном ласкою. Без отца и без матери почти с пеленок, при суровом деде, который даже с намерением выказывал к нему холодность и пренебрежение, ребенок всегда видел около себя или важные, равнодушные, или явно недружелюбные к себе лица. Мудрено ли, что весь постоянно сдерживаемый детский порыв отдался человеку, который первый выказал к нему любовь, который был сам чрезвычайно симпатичен и который сумел сделаться совершенною необходимостью.

С приездом фаворита государь повеселел, но вместе с тем ему еще неприятнее стал суровый надзор будущего тестя, его требования мучить себя, учиться, когда молодые, пробуждающиеся силы бродили и требовали любви и беззаботного веселья. Государь постоянно жаловался своему другу на взыскательность Меншикова, на несносную принужденность и неприятное положение выказывать жениховскую внимательность к нелюбимой девушке, равнодушной к нему, холодной и далеко не красавице. Иван Алексеевич, конечно, сочувствовал жалобам и из желания помочь другу старался внушить, что высказанная в завещании воля покойной императрицы относительно брака не может быть безусловно обязательною для него

как для государя и что по самодержавной своей воле он может уничтожить даже самого светлейшего.

Вероятно, жалобам, внушениям и желаниям долго бы оставаться только в мечтах, если бы не вмешались в дело хитроумный воспитатель Андрей Иванович и действовавшая по его внушениям сестра государя, княжна Наталья Алексеевна. Между Александром Даниловичем и Остерманом начались раздоры; и тот и другой инстинктивно понимали, что им, как двум медведям, в одной берлоге ужиться нельзя. Раз между ними дошло до крупной ссоры. Александр Данилович с обычным высокомерием выскочки, ставшего на высоте, и почти с ругательством высказал выговор Андрею Ивановичу за то, что ребенок воспитывается не как православный государь, а как какой-нибудь атеист, что за такое зловерное воспитание следует отправить воспитателя в Сибирь на вечную ссылку.

Такая дерзость вывела из самообладания даже и осторожного Андрея Ивановича.

– За мною ты не знаешь ничего, – почти выкрикнул барон, – а за тобою я знаю много такого, за что тебя следовало бы не то что в Сибирь, но и четвертовать¹.

Но Андрей Иванович ясно понимал, что открытая борьба со светлейшим ему не под силу, что ему не сломить Данилыча, а потому стал тайно, но постепенно и постоянно внушать государю мысль о возможности сложить с себя тяжелое ярмо.

Желаниям Андрея Ивановича деятельно помогал и сам светлейший строгим отношением к будущему зятю, постоянными требованиями учиться, отказами в желаниях и, наконец, самоуверенными приказами, отменявшими распоряжения государя. Но все-таки при уме, проницательности и решительности Александра Даниловича едва ли было совладать с ним Андрею Ивановичу, если бы не помогла сама судьба. В самый разгар возникших неприятностей светлейший князь захворал, и захворал так сильно, что в продолжение нескольких недель опасались за его жизнь. Этим обстоятельством и поспешили воспользоваться. Дружными усилиями Андрея Ивановича, Ивана Алексеевича и Натальи Алексеевны государь доведен был до такого раздражения против диктатора, что когда тот выздоровел, то поправить дело было уже невозможно.

Борьба кончилась полным поражением несокрушимого статуя. По распоряжению Верховного тайного совета, вследствие повеления государя, переданного его обер-гофмейстером и воспитателем Остерманом, Александр Данилович, по лишении своего высокого звания, был сослан в Ораниенбург, нынешний Раненбург, с женою, ее сестрою Арсеньевой, сыном и дочерьми, не исключая государыню-невесту. За светлейшего генералиссимуса печальников не оказалось.

По отъезде Александра Даниловича малолетний государь, не стесняемый никакою уздою, воспользовался полною свободою. Учение было почти отброшено; с утра до вечера, иногда и по целым ночам государь забавлялся то охотами, то балами, то приключениями, свойственными более зрелому возрасту. Руководителем этих забав, конечно, явился девятнадцатилетний Иван Алексеевич, получивший звание обер-камергера, майора гвардии и пожалованный зараз двумя орденами, Александра Невского и Андрея Первозванного. Юноша подошел к небывалому фавору.

Во главе двора стояли три лица, любившие глубоко и нежно государя, желавшие ему полного добра, но не владевшие такою железною волею, какая была у светлейшего князя. Познакомив ребенка с преждевременными удовольствиями, Иван Алексеевич, несмотря на свою ветреность, скоро понял, по какому гибельному пути он его повел, и стал отстраняться, стал заговаривать о благоразумии, об обязанностях, но уже было поздно. Между придворными ходил рассказ о том, как однажды, когда государю подали для подписи какой-то смертный приговор, Иван Алексеевич, стоя позади кресла, наклонился и больно укусил государя за ухо.

– Что с тобою, Иван? – спросил государь, оборотившись к своему любимцу.

– А то, государь, что прежде чем подписывать приговор, надобно вспомнить, каково будет несчастному, когда ему будут рубить голову.

Может быть, постепенными и настойчивыми усилиями воспитателю Ивану Алексеевичу и сестре Наталье Алексеевне и удалось бы подействовать на государя благотворно, но, к несчастью, явился другой воспитатель с другими взглядами, другими убеждениями – в лице Алексея Григорьевича Долгорукова, особенно сблизившегося с государем в Москве после коронации.

V

– И любит же надежда-государь поохотиться, словно все по-старому, как бывало при прадедушке, тишайшем царе Алексее Михайловиче, – говорили седые московские обыватели, провожая глазами воскресшие царские охотничьи походы с нескончаемыми обозами.

И чего не было в этих поездах – царские кареты, экипажи придворных, членов Верховного тайного совета и сенаторов, объемистые колымаги, брички, рыдваны и, наконец, простые телеги, в которых помещались домашняя челядь, подвижные кузни и припасы. Припасов, впрочем, особенно много не забиралось – отъезд часто назначался на неопределенное время, а в дороге живность портится скоро да и надобности большой нет – догадливые торговцы не пропускают случая зашибить лишнюю копейку. Как только государь укажет, где быть полю, устроят палатки, оправятся от дороги люди, – торговцы тут как тут с товарами на подвижных ларях, и пойдет торговля – точь-в-точь ханские кочевья по степям.

Окрестности Москвы полтора века назад изобиловали лесами, местами дремучими, болотами и другими угодьями для разного рода охот. В непроходимых дебрях или в громадном сосновом бору за селом Всехсвятском, по берегам реки Химки, не в редкость поднимали медведей; в перелесках охотились за волками, лисицами и зайцами; по болотам вспугивали птицу. Государь любил всякую охоту и не отдавал предпочтения ни одной из них; какая выпадала сподручная местность, такая назначалась и охота. Когда попадется по пути болото, в котором непечатое количество дикой птицы, непуганой выстрелами охотников, тотчас же начинались приготовления. Раскидывались палатки в удобном месте, спускались гончие для выпугивания птиц, и кречетники, ястребники и сокольники становились настороже с учеными хищными птицами на кляпышах, у которых глаза покрыты маленькими клубочками. Как только вспархивала из куста или болота утка или какая иная птица, очередной кречетник, ястребник или сокольник снимал клубочок с глаз своей птицы, хищник стрелою напал на жертву и, убив ее ловким ударом, сам снова возвращался на руку своего хозяина. Иногда лучшего сокола держал сам Петр Алексеич, и тогда с какою гордостью он следил за смелым полетом своего хищника, как сверкали его глаза, точь-в-точь как у его прадедушки, тишайшего царя Алексея Михайловича, знаменитого знатока соколиной охоты.

В местностях, изобильных мелким пушным зверем, другого рода охота: зверей или затравливали борзыми, или ловили тенетами. В травле больше жизни, больше собственного участия, и потому она практиковалась везде, где только представлялась возможность. Стремянные, егеря и охотники на лошадях, одетые в живописные костюмы, в красных шароварах, в горностаевых шапках и зеленых кафтанах с золотыми и серебряными перевязями, с блестящими золотыми и серебряными рогами, расставляются по опушке на сторожевых местах; у каждого охотника на своре борзая¹. Все охотники в томительном ожидании, с напряженным слухом – где послышится лай и в каком направлении побежит зверь. Вот в ближайших кустах послышался легкий шум, и вслед за тем показался зверь; охотник мгновенно спускает на него своих собак и сам летит за ними, летит очертя голову, не разбирая ничего впереди себя, в каком-то диком бешенстве, и редко, редко уцелеет жертва от такой отчаянной погони. В этой охоте государь почти всегда участвовал на лучшей лошади и с лучшими собаками.

Совсем другой характер в охоте с тенетами, употреблявшимися только там, где предполагалось обилие волков. Кругом лесного места, которое на техническом охотничьем языке получало название «острова», расставляли тенета и выгоняли зверя дружным криком охотников и лаем собак. Выгнанный волк запутывался в сетях и делался жертвою.

Наконец, в дремучих лесах устраивалась охота на медведя. Этот род охоты считался самым опасным, и на этой охоте допускали государя присутствовать только тогда, когда не было уже никакой опасности, когда медведь был проколот рогатиною или поражен метким выстрелом. На борьбу с медведем отваживались немногие из охотников, или известные стрелки, или люди сильные, здоровые, ловкие, привыкшие бороться с опасным врагом один на один с рогатиною. В охотничьем мире эти борцы пользовались особенным почетом и славой.

На охотах государя сопровождали члены иностранного дипломатического корпуса, все приближенные и высшие сановники государства, не исключая даже и членов Верховного тайного совета, заседания которого, конечно, на все это время прекращались; все важные влиятельные персоны если по каким-либо обстоятельствам не рыскали по полям, то уезжали по своим вотчинам для сбора доходов на придворную жизнь, требовавшую денег и денег; дороговизна росла, а из вотчин получались только одни жизненные припасы, и то наполовину испортившиеся в дороге. Из высших персон один только Андрей Иванович не бросал своих государственных работ и часто в самом разгаре охоты возвращался в Москву. В делах полнейший застой, но зато какая веселая жизнь!

В женском персонале, обыкновенно, бывало, выезжавшем на охоту, с последних чисел мая все заметили перемену. Страстная любительница охоты цесаревна Елизавета, прежде постоянно сопровождавшая со своим штатом государя, теперь всегда отказывалась выезжать. У нее было тяжкое горе: в двадцатых числах мая пришло известие о смерти ее сестры Анны Петровны. Перестала сопровождать государя и сестра Наталья Алексеевна, здоровье которой видимо слабело. Но зато стали постоянными спутницами Прасковья Юрьевна Долгорукова с дочерьми, старшею Катериною и двумя младшими.

Поздняя осень. В двадцатых числах ноября лежит глубокий снег, навалившийся по опушке высокими сугробами. Много пришлось работать по очистке удобного места для стоянки царской охоты. Дремучий лес стоит очарованным, заснувшим великаном, и не смогут его разбудить шум и говор далеко разносившихся по ветру голосов. Ясный морозный день, ярко, до режущей боли в глазах освещают прогалину солнечные лучи, отражаясь миллионами сверкающих искр на ветвях деревьев, покрытых инеем, и на снежном полотне. В середине прогалины стоит рослый коренастый парень, опираясь на рогатину. Спокойно смотрит он по направлению какого-то следа через прогалину в чащу, добродушные светлые глаза точно улыбаются, будто приветливо ждет друга, ровное дыхание в густом воздухе обдает облаками пара и садится на окладистую бороду и мохнатую шапку алмазными блестками. Тихо, ни одного звука по лесу. Но вот вдруг вся чаща огласилась дружным окриком, и спустя несколько минут из глубины на прогалину показалось бурое косматое животное, медленно и важно переступавшее по снегу. Это был громадный медведь. Выступив на открытую прогалину, освещенную солнцем, он приостановился, тревожно осмотрелся кругом и, увидев ждавшего его человека, зарычал, как будто инстинктивно почуял врага. Лесной царь, видимо, раздражен за такое наглое нарушение его покоя, да и как было не рассердиться, когда этот непрошенный гость, человек, стоит перед ним спокойно и словно дразнит его рогатиною, словно вызывает на бой. Медведь пошел прямо на человека тою же увалистою тяжелою поступью. Но, не доходя несколько шагов, он снова зарычал и поднялся на задние лапы. В это мгновение парень, ловко взмахнув рогатиною, сделал шаг вперед и со всего размаха вонзил ее в живот медведя. Страшный рев раздался в воздухе, животное рассвирепело, глаза налились кровью, и, обвив передними лапами рогатину, он силился или сломать, или отнять ее у врага, но вместе с тем в ослеплении ярости, подступая все ближе и ближе к человеку, оно все глубже и глубже само вонзало в себя орудие.

Борьба не могла продолжаться долго, и победа, видимо, клонилась к человеку; могучие движения заметно стали ослабевать, кровь лилась ручьями по мохнатой шерсти и, скапываясь, окрашивала снег широким полукругом; в самом звуке дикого рева стали слышаться жалобные стоны врага, понявшего наконец свое бессилие и как будто просившего помощи или пощады. Еще два-три последних отчаянных усилия, и страшный зверь грузно свалился на землю с широко раскрытой пастью, из которой вырывалось глухое хрипение; скоро стихли и последние признаки жизни, только по лапам пробегали еще судорожные движения.

В это время место побоища окружила толпа придворных, наблюдавшая издали. Государь, подойдя к издыхавшему зверю, наблюдал последние проявления жизни, и, казалось, вид агонии не производил на него тяжелого впечатления.

– Как тебя зовут? – спросил государь победителя.

– Андрюхой, великий государь, Андрюшкой прозываюсь, из Сизова, – отвечал парень, добродушно улыбаясь и обтирая грязным рукавом тулупа вспотевшее лицо.

– Спасибо, Андрей! Жалую тебе десять рублей и чарку вина, – и государь подал победителю свою серебряную чарку. – Которого бьешь, Андрей? – любопытствовал потом государь.

– Да вот с этим, государь, четвертый пяток покончил.

– Молодец! Ну расскажи, Андрей, страшно тебе бывает, когда эдакой зверь на тебя полезет? – продолжал расспрашивать государь.

– Большого страха не должно быть, ваше величество, привычка, да опять же и опасности большой нет, – вмешался князь Алексей Григорьевич.

Андрюха перевел свои добрые большие глаза на князя.

– А что, ваша милость, – вдруг обратился он к князю с невиннейшим видом. – Богу ты молишься, чай, кажинный раз, как ложишься спать?

– Ну что ж тебе из этого? – грубо и надменно оборвал князь.

– А зачем молишься? – с тем же добродушием продолжал Андрюха. – Знамо, из того, что не ведаешь своего часа. Кажинному человеку свой час страшен, а в нашем деле евтот час близок, ух как близок... Иной зверь ни за што не станет на лапы, хоть што хошь, вот тут и ломайся с ним! Иной раз рука сфальшивит, рогатина по шерсти скопынет, альбо мишка сорвет...

Между тем привезли дровни и стали наваливать тушу, насилу навалили зверя, такой оказался грузный.

Вечерело. Охотники отправились к палаткам, где приготовлена была для придворных обильная закуска. Бывая почти постоянно на охоте, государь привык выпить лишнюю рюмку, а за ним пили и все, старые и малые, мужчины и дамы, иззябшие на морозе. Вино развязывало языки, со всех сторон сыпались остроты, шутки, анекдоты, хвастливые рассказы и споры охотников. Вообще в отъезде поле дышалось всем вольнее, о придворном этикете не было и помину, почти каждый из охотников мог обращаться к государю свободно. За столы садились без чинов, но как-то случалось так, что подле государя всегда занимала место старшая дочь Алексея Григорьевича, княжна Катерина, а подле нее свояк австрийского посланника, молодой и красивый офицер Миллезимо.

– Изволили забыть, государь, откушать своего любимого венгерского, – напоминал князь Алексей Григорьевич, указывая на стоявшую перед государем бутылку.

Государь выпил полстакана.

– А где наш Иван? – вдруг спросил он, вспомнив, что несколько дней не видел друга.

– В Москве, государь, – отвечал отец и потом добавил с ядовитой улыбкою: – Видно, скучно ему здесь.

– Верно, охотится в Москве за дичью, – улыбнулся государь. – А тебе что, князь Федор? – спросил он, увидев подходившего к нему своего обер-егермейстера Федора Васильевича Долгорукова.

– Прошу, ваше величество, меня уволить.

– Куда и надолго ли едешь, Федор?

– Может, и надолго, государь, надо в вотчину.

– Катя! Княжна Катя! – кричал между тем Алексей Григорьевич дочери, о чем-то с заметным оживлением говорившей с Миллезимо. – Отчего ты не потчуеть государя?

Княжна с едва уловимую досадою обернулась к государю и налила ему снова стакан вина. Государь поблагодарил, взяв ее руку и поцеловав. Оттого ли, что выпитое вино возбуждало кровь или действительно воодушевленное личико княжны Катерины как-то показалось особенно привлекательно, но только остальное время государь почти не отрывал жадного взгляда от нежной грациозной фигуры девушки.

Давно стемнело, и было время собираться на назначенный ночлег. Вслед за государем все охотники поднялись с мест.

– Завтра вечером, в саду, – тихо обронила княжна Катерина своему соседу Миллезимо.

По заранее определенному расписанию для ночлега была выбрана деревня Горенки, принадлежавшая князю Алексею Григорьевичу, но на этот раз судьба расстроила предположение. В то время как государь вышел из палатки и готовился сесть в ожидавшие его сани, подскочил гонец из Москвы с письмом от Андрея Ивановича. С досадою и явным нетерпением государь развернул записку и прочел несколько строк кудреватого почерка воспитателя:

«Не благоугодно ли будет вашему величеству поспешить возвращением в Москву, если пожелаете проститься с сестрицею! Здоровье ее высочества Натальи Алексеевны в таком положении, что надеяться на продолжение драгоценной жизни невозможно».

С минуту стоял государь в нерешимости. Ему так хотелось ехать в Горенки, где так приятно проходило время, не то что в Москве, где скука, принуждение да нравоучения; притом же в его ли власти помочь сестре! А с другой стороны, если сестра умрет, не простившись с ним, сестра, которая так любит его и которой, может быть, сделается лучше, если он приедет, может быть, и совсем выздоровеет. Нет, надобно ехать к ней... Андрей Иванович недаром зовет... И доброе чувство взяло верх.

Через минуту сани государя летели в Москву, далеко оставляя за собою растянущуюся цепь отставших экипажей. Государь торопил. По чрезвычайной подвижности чувств он теперь горел желанием скорее увидаться с сестрою, забыв о Горенках и об охоте.

– Который час, Андрей Иваныч?

– Двенадцать, матушка-княжна, только двенадцать.

– Что это, как тянется время, тоска... Словно свинцом сдавило грудь... Не нарочно ли ты переводишь часы, Андрей Иваныч? – жаловалась великая княжна Наталья Алексеевна, полусядя на постели и опираясь спиною на подушки, сидевшему против нее в глубоком кресле барону Андрею Ивановичу.

В последнее время княжна заметно изменилась. Пароксизмы удушливого кашля стали возобновляться чаще, продолжаться упорнее, и после каждого пароксизма обильнее появлялись излияния крови из горла; цвет лица и прежде нежный, сделался совершенно прозрачным, до того прозрачным, что стали видны все синеватые жилы, видно, как вспыхивали и загорались ярким румянцем ограниченные пятна на впалых щеках; голубые глаза ушли еще глубже, искрясь каким-то электрическим блеском. Наталья Алексеевна даже похорошела, но было больно смотреть на эту красоту. Для каждого было видно, что в княжне совершалась решительная борьба молодых сил с разрушительным началом, последними вспышками. Она видимо таяла; слабый организм подламывался под двойными ударами недуга и тяжелых нравственных страданий. Никто не знал и не подозревал, сколько сердечных мук переживала девушка, одинокая, покинутая любимым братом, неразлучным с нею с пеленок, никто, разве только один хитрый Андрей Иванович, у которого на глазах развивались эти две жизни, брата и сестры, которым расти бы да цвести, а не гибнуть.

Княжна Наталья Алексеевна и старый Андрей Иванович жили дружно. Ему одному поверяла она все свои зарождавшиеся мечты, и только от него слышала добрые советы, живые и теплые речи, для нее одной Андрей Иванович был не хитрою лисицею, ловким интриганом, как его считали все другие, а простым, хорошим человеком. Обоих их связывало одно чувство – любовь к государю, и оба они сокрушались, что их кумир отшатнулся от них, попал в нехорошие руки, где ему сгореть...

– Да писал ли ты, Андрей Иванович? – снова допрашивала княжна, только что успокоившись от мучительного припадка и вскинув на воспитателя блестящие пытливые глаза.

– Как же, родная моя княжна, тот же час написал, как и говорил, – уверял Андрей Иванович.

Больная, казалось, успокоилась, прилегла и закрыла глаза, но потом вдруг поднялась и заговорила торопливо и испуганно:

– А что, если он не приедет?

– Как не приехать, родная моя, приедет, непременно приедет.

– Может, его не найдут... Далеко уехал с охотой?

– Отыщут, матушка, как не отыскать, не иголка какая.

– А если и отыщут, да не захочет приехать?

– Да что ты это... полно, милая княжна моя, по-пустому тревожиться... К тебе-то еще бы не приехать!

– Пожалуй, и приедет, да будет поздно?!

– Как поздно? – с испугом переспросил Андрей Иванович.

– Меня не увидит больше... умру... – глухо прошептала княжна.

– Да выкинь ты из головы эти негодные мысли, милая моя, успокойся... Ну, больна ты, спора нет, да мало ли кто бывает болен... Полежит, полежит, да и встанет... потом все по-прежнему, по-старому.

– Ах, Андрей Иваныч, как хорошо было прежде... Помнишь, как мы – ты, я да брат, бывало, гуляли по петергофским рощам... Воздух такой ласковый... цветы всякие... птицы... Счастливы мы были... Тогда бы мне умереть...

– Э... полно, бог даст, все опять будет по-прежнему. Только бы нам, родная моя Наталья Алексеевна, вырвать его отсюда... перевезти бы в Петербург... Вот как приедет, уговори ты его, возьми с него слово.

– Хорошо, Андрей Иваныч, только и ты согласишься на мою просьбу... мою последнюю просьбу... Когда я умру...

– Да что ты опять...

– Не мешай мне, Андрей Иваныч, знаю, что говорю... чувствую... Когда я умру, не покидай его... люби его, как я любила... остерегай его, береги... отведи его от этих Долгоруковых... злодеи они... а главное... главное... никогда не допускай свадьбы... на цесаревне... не хочу этого...

– Ручаюсь тебе, голубушка моя, не женится он на ней никогда.

– Спасибо, Андрей Иваныч, поправь свою вину... Ведь ты... навел на мысль.

– Я... – начал было оправдываться Андрей Иванович.

– Перестань... Никогда ты мне не лгал, не лги и в последнюю минуту... Не сержусь я на тебя... простила... добра же хотел, без злого умысла...

Княжна замолчала, истощенная продолжительным разговором и внутренним волнением, она тихо положила головку на подушки и, казалось, забылась. Через несколько минут она снова вдруг встрепенулась и стала жадно прислушиваться.

– Слышишь, Андрей Иваныч, слышишь... – чуть слышно шептала она.

Но Андрей Иванович, как ни напрягал свой острый слух, различить ничего не мог.

– Он... он... – продолжала шепотом княжна. – Спешит... слава богу... Как спешит-то, голубчик мой...

Скоро и барон Андрей Иванович стал различать отдаленные и отрывчатые звуки колокольчика. Звуки ближе и ближе и наконец совсем оборвались возле подъезда.

Княжна вся подалась вперед, не отводя тоскливых глаз от двери.

– Петя... голубчик... милый!

– Наташа, родная моя!

Брат и сестра поцеловались, тесно обнявшись друг с другом. Осторожный Андрей Иванович хотел было высказать совет, что волнение вредно, что оно может окончательно оборвать последние силы больной, но, подумав и посмотрев на обоих, только отмахнулся рукою, тихонько уходя из комнаты.

Княжна совсем выздоровела – таким густым здоровым румянцем запылало все лицо ее и таким ярким блеском заискрились широко раскрытые глаза, казавшиеся еще глубже и еще блестящее от окружавшей их широкой синей полосы.

– Сядь, Петруша, подле меня, не отходи... недолго мне с тобою быть... – заговорила сестра, совершенно задыхаясь и с отчаянным усилием стараясь втянуть в себя как можно больше воздуха.

– Что ты, Наташа, да ты совсем, совсем здорова, – успокаивал брат, по-видимому и сам не подозревая безнадежного положения сестры.

– Здорова, Петя, совсем, – шепотом повторила княжна. – Только не отходи ты от меня... Мне много, много нужно с тобою переговорить... Постой, вот я отдохну...

Помолчав несколько минут, сестра снова заговорила, уже более спокойно:

– Ты был на охоте, Петя?

– На охоте, Наташа. Повалили медведя; если бы ты видела, какого громадного да сильного! Шкуру я велел приготовить для тебя, положу вот здесь, у твоей кровати, – рассказывал государь.

– Весело ли было тебе? Кто был? Была ли тетка? – перебила его сестра, не обращая никакого внимания на медведя.

– Лиза? Нет не была, – покраснев и несколько заикаясь, поспешил ответить брат. – Да разве ты не знаешь, она уехала в Покровское и, может, долго не воротится.

– Ну и хорошо... спасибо... Теперь мне совсем легко... Да, вот еще что... Петруша, милый, голубчик, обещай мне... успокой... обещаешь?

– Обещаю, Наташа, да разве я не хочу исполнять всех твоих желаний?

– Уезжай отсюда, Петя, как можно скорее уезжай... Отгони от себя ты этого... Алексея Григорьевича... Погубит он тебя... Слушайся Андрея Иваныча... он хороший... тебя любит... Уедешь, Петя?

– Уедем, Наташа, вместе уедем... Как только вот ты поправишься.

– Меня не дожидайся... я не поправлюсь... Оставлю тебя... скоро... скоро... Прощай... ненадолго... Скоро мы опять будем вместе...

Наталья Алексеевна откинулась на подушку и закрыла глаза; грудь, высоко поднимавшаяся усиленным вздохом, опустилась и не поднималась больше, румянец сбежал мгновенно, и легкая нервная дрожь пробежала по всему телу.

– Наташа, тебе дурно? – обеспокоился государь, наклоняясь к лицу сестры, он хотел поцеловать привести ее в чувство, но поцеловал холодные губы. Он порывисто схватил руку – и рука тоже какая-то странная, холодная.

Государь вскрикнул и упал без чувств.

Андрей Иванович распорядился в этот же день перевезти государя в Кремлевский дворец.

VI

Едва ли не нежнее всех русских, близких и родных, любил двоих сирот, Петра и Наташу, барон Андрей Иванович Остерман, этот хитрый, лукавый, двуличный человек, ловкий дипломат, иноземец, но которому Русь обязана столько же, если не больше, как и любому из своих родных сынов. В Андрее Ивановиче являлось странное сочетание крайностей: любви и холодного презрения к людям, бескорыстия, честности и лжи, мужества и трусливости, заставлявшей его лукавить, притворничать и обманывать, ума и какой-то детской наивности. Судьба во всем играла с ним, одарила громадными дарованиями, подняла высоко и опустила в снежную могилу на безлюдном Севере.

Сын вестфальского пастора, Генрих Остерман, истый немец, которому жизненная дорога казалась такою определенной, вдруг переносится в совершенно другую сферу, и мало того, что переносится, он вполне сливается с этою сферою. По установившемуся обычаю в пасторских семействах, наш Генрих Остерман мирно занимался науками в Йенском университете в надежде сделаться пастором со временем в каком-либо уголке немецкой земли, а вместо этой карьеры несчастная дуэль с товарищем, в которой этот товарищ был проколот шпагою, заставила его бежать из Йены и родной земли в Голландию, без всяких определенных планов о будущем. В Амстердаме он видится с русским вице-адмиралом Крюсом, поступает к нему на частную службу и переезжает в Россию.

Переезд иностранца как искателя счастья в Россию во времена Петра Великого не был необыкновенным событием, но необыкновенно было то, что с переездом в новое отечество юный Генрих сбросил с себя генриховскую кожу и совершенно отрешился от немецкой кичливости. Поступив на службу хотя и к русской должностной персоне, но все-таки немцу по происхождению, он не пошел по следам своих собратьев, державшихся упорно своего немецкого диалекта, а, напротив, принялся за изучение русского языка, в чем при своих блестящих способностях успел настолько, насколько мог успеть немец. Через два года наш Генрих Остерман, уже хорошо говоривший и писавший по-русски, поступил на государственную службу и сделался Андреем Ивановичем.

Раз его какая-то деловая записка, написанная по-русски, попала в руки Петра Великого; государю понравилось толковое изложение, и он спросил об имени составителя – ему указали на немца Андрея Ивановича. Как глубокий знаток людей, преобразователь взял Андрея Ивановича к себе в канцелярию, испытал его и стал ему доверять все секретные и важные государственные бумаги. Андрей Иванович ни разу не обманул ни доверия государя, ни расчетов на его служебные способности.

«Никогда ни в чем этот человек не сделал погрешности, – не раз говаривал об нем государь. – Я поручал ему писать к иностранным дворам и к моим министрам, состоявшим при чужих дворах, отношения по-немецки, по-французски, по-латыни, он всегда подавал мне черновые отпуски по-русски, чтобы я мог видеть, хорошо ли понял он мои мысли. Я никогда не замечал в его работах ни малейшего недостатка».

Петр Великий поручал Андрею Ивановичу самые сложные дипломатические сношения, и во всех поручениях Андрей Иванович оказывался одинаково исполнительным, умным и самым тонким политиком. Интересы России отстаивались им сильнее, энергичнее самих русских. По Ништадтскому миру Россия приобрела Выборг единственно благодаря ловкости, умению и энергии Андрея Ивановича.

Истощенный Северною войною, Петр Великий, отправляя для переговоров о мире со Швецией своих послов, генерал-фельдцейхмейстера Брюса, Ягужинского и Остермана, поручил им настаивать на удержании за Россией Выборга как города, имевшего важное значение и притом уже занятого русскими войсками, но вместе с тем разрешил в случае решительного

несогласия шведов согласиться и на уступку. Переговоры тянулись долго, шведы упорно требовали Выборг и грозили порвать мирные переговоры. Между русскими уполномоченными тоже возникли раздоры: русские решались на уступку, не решался только один Андрей Иванович. Для прекращения споров наши послы условились послать Ягужинского за разрешением к Петру Великому. Так как в разрешении не могло быть сомнения, то Андрей Иванович употребил хитрость: он уговорил коменданта Выборга, генерала Шувалова, задержать отправку Ягужинского на несколько дней, необходимых для окончательного устройства своих личных переговоров со шведами. Шувалов угощал Ягужинского, любившего выпить, два дня, а когда потом Ягужинский воротился с разрешением, то было уже поздно – мир был подписан и заключен с удержанием за Россией Выборга. Этим успехом русские обязаны были исключительно только одной ловкости нашего обрусевшего немца, почти без денежных расходов. Когда отправлялись послы на конгресс, Петр Великий передал Андрею Ивановичу сто тысяч червонцев для подарков шведским уполномоченным, но из этой суммы Остерман возвратил государю девяносто тысяч, потратив только десять.

За Ништадтский мир Петр Великий наградил Андрея Ивановича титулом барона, потом в 1723 году назначил его вице-канцлером на место отрешенного от должности барона Шафировва.

«Андрей Иванович лучше всех понимает истинные нужды и выгоды государства и России, без него обойтись нельзя», – говорил незадолго до своей смерти великий преобразователь, и говорил правду.

В двухлетнее правление Екатерины I барон Андрей Иванович был произведен в действительные тайные советники и награжден орденом Андрея Первозванного. При Екатерине же к его многосложной обязанности вице-канцлера присоединено было управление почтовым ведомством и торговлею, а затем, перед смертью императрицы, он был назначен воспитателем и гофмейстером к великому князю Петру.

Андрей Иванович был женат на Марфе Ивановне, урожденной Стрешневой, глубоко его любившей и впоследствии доказавшей эту любовь, но была ли счастлива супружеская жизнь – об этом Андрей Иванович никогда и никому не высказывался. Женился Андрей Иванович без пылкой страсти, вернее сказать, женила его на себе Марфа Ивановна энергично, не давая времени на составление и обсуждение всех возможных комбинаций и конъюнктур. Марфа Ивановна знала характер своего мужа, благоговела перед его громадным умом, высоко ценила его, но умела также верно ценить уклончивость и нерешительность мужа, доходившие иногда до слабости; своею энергиею она дополняла недостаток его энергии.

Сирот, вверенных ему, великого князя и княжну Наташу, Андрей Иванович любил нежно, и оба ребенка платили ему тем же, в особенности же княжна. С любовью принялся воспитатель за новые свои обязанности. С полным знанием и опытностью выбрал он наставников, составил программу, но не мог выполнить своей задачи. Он не мог вырвать своего воспитанника из той губительной среды, которою тот был окружен, у него не было ни силы, ни энергии. Ему нельзя было не видеть, что сближение с молодым Иваном Алексеевичем, добрым, симпатичным, благородным по природе, но вместе с тем и развращенным варшавским воспитанием, вредно и губительно для ребенка, но недоставало твердости отстранить это вредное влияние. Мало того, он даже сам воспользовался этим влиянием для своих личных целей – низвержения несокрушимого статуя.

Вскоре, однако же, по ссылке нареченного тестя, Андрей Иванович сам испытал, как нужна была железная рука Данилыча. Увлечения самодержавного отрока грозили принять крайние размеры: прежде послушный и кроткий воспитанник, теперь поглощенный весь новою жизнью, вечною погонею за увеселениями, он перестал совсем слушаться. Избалованный угодливостью и раболепством придворных, он сделался своенравным, надменным, не терпящим противоречий, полюбил разгульное общество, стал пристращаться к вину.

– Ваше величество моих советов не слушаете, – усевещивал своего державного воспитанника Андрей Иванович, – а я должен за вас отдать отчет перед Богом и своею совестью! Я бы просил вас определить меня к другим делам или вовсе дать отставку.

Но государь не хотел слышать ни о других делах, ни об отставке. С глубоким чувством, с глазами, полными слез, он по-прежнему ласкал старого воспитателя, уверял, как он его любит, как дорого ценит его добрые советы, что постарается исправиться, будет учиться и отстанет от дурных людей. Но добрые минуты продолжались недолго, слезы скоро высохали, и на другой, если еще не в тот же день – новые хлопоты о забавах.

По переезде в Москву стало еще хуже. В Петербурге Андрей Иванович был, по крайней мере, в своей стихии, как рыба в воде, в Москве же для него все чужое – здесь он потерял всякую надежду. Государя окружили новые люди, явился и другой воспитатель, тогда как и первому-то, Андрею Ивановичу, делать было нечего. Новый воспитатель, князь Алексей Григорьевич Долгоруков, пошел дальше своего сына в порче отрока-государя.

«Совсем спойт ребенка, растлит вконец, не человеком сделает. Да ему что, лишь бы только самому стать выше», – думает Андрей Иванович, по целым ночам ворочаясь с боку на бок, все придумывая меры, но и его изворотливый ум ничего не может придумать.

А между тем в политическом мире становилось все серьезнее и мрачнее. Из Малороссии получены тревожные вести о татарских замыслах, и хотя послали туда фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына с войском, но, благополучно ли кончится кампания, неизвестно, так как за татарскими смутами скрываются турецкие происки. Да и на севере не лучше. Швеция не только подстрекает Турцию, но и сама явно готовится к войне – хочется ей воротить потерянное по Ништадтскому миру. И не страшна была бы война со шведами, да рук нет, флот почти весь сгинул. Корабли хотя и оставались еще, но без орудий и без экипажей, корабли старые и гнилые, а новых судов не строили. Известно было, что молодой царь не любит моря, а за ним и все перестали обращать на него внимание. Конечно, еще можно бы поправить дело, исправить и снарядить старые корабли, да разве можно принимать меры из Москвы? «Нет, надобно ехать в Петербург, надобно во что бы то ни стало», – повторяет в уме своем Андрей Иванович чуть не каждый час.

Не меньше беспокоят вице-канцлера и дела внутренние. Везде бедность да нищета. В торговле полный застой. Подлые людишки совсем ободрались, не могут даже уплачивать и податей, которых накопилось в недоимке больше пяти миллионов рублей. Но отчего серому люду поправиться? Северная война истощила казну, как истощился и народ людьми и деньгами. Кончилась война, можно было бы надеяться, что вот теперь вздохнется свободнее, а тут сами сделали себе врага похуже войны. По милости русских важных персон покойная императрица отменила чуть не все коллегиальные учреждения и устроила в провинциях единоличную губернаторскую власть неограниченную, как судьи и администратора. И пошли в ход взятки, поборы да всякого рода обирательства, от которых стало народу еще тяжелее войны. «Изломал все покойный благодетель, – не раз думалось Андрею Ивановичу, – новое не успело окрепнуть, а теперь снова стали ломать – и вышло черт знает что такое. Никому теперь ни до чего дела нет, никто не хочет никаким делом заняться, лишь бы только охотиться, гулять да пьянствовать. Да и может ли быть доброе, когда все захватили в свои руки Долгоруковы? А все оттого, что мы сидим здесь, в Москве. Рассчитывал, что вот уважит последнее моление умирающей... и то ничего. Поплакали мы, погоревали, начали было собираться домой, в Петербург, потом стали откладывать день за днем, и пошло все по-прежнему».

Не любил Андрей Иванович Москву и все напасти приписывал ей одной. Ему, как ближайшему сотруднику великого преобразователя, сказывался единственным спасением только Петербург, откуда должно было исходить одухотворение бесформенной массы, явиться регламентация всего существующего и создание государственного строя.

И думает Андрей Иванович и день и ночь, а все путного ничего не выходит. Один в поле не воин. Думает вот и теперь за своим письменным столом, на свободе, никем не стесняемый. В кабинете тихо, только изредка проносится какой-нибудь крикливый возглас Марфы Ивановны, воевавшей по хозяйству с прислугой в кухне. Окна в кабинете отворены, и вливается свежими струями утренний летний воздух. Андрей Иванович с наслаждением втягивает в себя мягкие, ласкающие струи; как вечно закупоренный с пером за бумагами и знающий поэтому цену отдыха, он дорожит теперь свободною минутою. Парик мирно валяется в углу, подле туфель Марфы Ивановны, зеленый тафтяной глазной зонтик тоже брошен под стол, незачем теперь его, глаза смотрят так зорко и бодро, ноги не окутаны, как у подагрика, а вольно перекинуты одна на другую – совсем хорошо Андрею Ивановичу, если бы только не эти черные мысли.

Несмотря, впрочем, на раннее утро, вице-канцлер и воспитатель недолго наслаждался полною свободою. В соседней комнате скоро послышались торопливые шаги и нечесанный, заспанный камердинер доложил о приезде молодого обер-камергера князя Ивана Алексеевича Долгорукова. Мигом зеленый зонтик очутился на глазах, ноги протянуты на скамейку, шлафрок плотно запахнут – хозяин встретил гостя прежним, озабоченным больным стариком.

– Я нарочно забрался к вам, барон, пораньше, чтоб застать дома. Очень нужно посоветоваться. Но не собираетесь ли вы на охоту? – спросил молодой человек, дружески пожимая руку хозяина и усаживаясь против него прямо к окну на приготовленное для гостей кресло. Андрей Иванович всегда устраивался так, что сам со своими слабыми глазами оставался в тени, а гостей, напротив, обливал полный свет.

– Что вы это, ваше сиятельство, подсмеиваться изволите над стариком? Какой я охотник без ног и слепой! Пробовал было раз выехать с государем, так только смех один вышел. Вот вам, молодым людям, другое дело, можно забавляться, – любезничал Андрей Иванович с гостем.

– Видите, однако же, почтеннейший мой Андрей Иванович, не все молодые люди любят забавляться. Вот я почти совсем перестал ездить на охоту с государем.

Андрей Иванович не преминул удивиться, хотя он не хуже самого Ивана Алексеевича знал, что тот с некоторого времени не только не выезжал с государем, но даже и дома в Москве зажил как-то странно, монахом каким-то, так тихо, что про него ничего и слышно не было. Сколько бывало разговоров в городе о молодом царском любимце, сколько рассказов про его проказы! Хорошенькие женщины грозилась даже совсем перестать ездить в дом Долгоруковых. Беда, бывало, иной гостье не застать дома самой Прасковьи Юрьевны! Как только увидит хорошенькую гостью Иван Алексеевич, тотчас и пригласит, как будто мать дома, та войдет, а он и начнет обнимать ее и целовать, а иной раз созорничает и того хуже – только от стыда не рассказывали. Сколько ходило анекдотов при дворе о княгине Трубецкой, влюбившейся в него до того, что связи своей не скрывала, стыд совсем потеряла. А вот в последнее время замолкли все слухи. Вчера еще Марфа Ивановна рассказывала мужу, будто Иван Алексеевич совсем другим человеком стал; всех любовниц своих бросил, сидит все дома, словно в скиту каком, тоскует, а когда выедет, так ненадолго, и возвращается таким веселым, светлым солнышком. О прежнем пьянстве и помину нет! Слышал все эти вести Андрей Иванович, принял их к сведению, но теперь не показал и виду, что знает.

– Верно, князюшка милый, здесь вас что-нибудь притягивает аль опять размолвка с родителем? – лукаво, но не без примеси добродушия спрашивал Андрей Иванович.

Против воли его, несмотря даже на укоренившуюся неприязнь к Долгоруковым как к самым злейшим врагам своего воспитанника и личным своим недоброжелателям, Андрей Иванович не мог не поддаться открытому, симпатичному обращению молодого человека.

– Вы слишком мягко называете, добрейший Андрей Иванович, наши отношения с родителем размолвками. Не в размолвках мы, а в какой-то вражде – и бог ведает, не я тому причиною. Я готов любить и почитать родителя, как повелевают Божеские законы, но показывал ли он мне когда-нибудь, с самого моего детства, какую-нибудь ласку? Слышал ли я от него

какое-нибудь слово без брани и ругательства? И теперь могу ли я исполнять то, чего он требует? Послушайте только, Андрей Иванович... – И Иван Алексеевич стал говорить торопливо, задыхаясь, как будто спеша высказать все разом, все, что давно накопилось на душе; даже слезы выступили на его добрых глазах. – Я давно хотел посоветоваться с вами, Андрей Иванович, поговорить откровенно, да все откладывал, знал ведь, что вы не можете любить нас, Долгоруковых, а в особенности, может быть, меня... И вы правы... Мы, а в особенности я... злодеи, хуже злодеев. Те оберут, да душу оставят в покое, а мы обираем и чистую душу, всю жизнь молодую губим... Я знаю, вы обвиняете в испорченности ребенка-государя меня, и вы опять-таки правы... Мне нет пощады, и больше всего я казню себя самого. Но поверьте, я делал злое дело без умысла, без расчета... Привык я в Польше к гулянью, разврату... молод очень был... И когда поступил к великому князю, все продолжал свою жизнь и не подумал тогда, какая страшная ответственность на меня ляжет... Научил я ребенка худому, потому что сам был тогда худым человеком... Потом уже, как сделал зло, стал спрашивать себя, пытаться, и мне становилось до того гадко, что хоть убежать бы куда... А между тем оторваться от прежней жизни не мог, да и поздно было. Так я все и мучился до сих пор... Теперь же мне особенно ясно и мучительно стало мое прежнее злодейство... Теперь я совсем оторвался от прошлого... Хотелось бы мне поправить свою вину, да не знаю как... Научите меня разуму, Андрей Иванович, век за вас буду Бога молить.

Андрей Иванович понял страстную речь, вылившуюся прямо из сердца, нерасчетливую, порывистую и бессвязную, понял скорбное и страдальческое выражение лица молодого человека и давно уже, почти с самого начала исповеди, отбросил с глаз свой тафтяной зеленый зонтик куда-то под стол. С ясностью, приветливостью и вместе с тем с каким-то странным недоумением смотрит теперь на кающегося грешника вечно серьезный и загадочный сфинкс-оракул и теряется сам, как теряется врач, встретивший больного субъекта, разрушившего вдруг все его прочно сложившиеся знания и убеждения.

– Что же, Андрей Иванович, неужто моему греху и помочь ничем нельзя? – тоскливо спрашивал Иван Алексеевич с крупными слезами, катившимися по исхудалому лицу.

– Право, не знаю... как и сказать... случай такой небывалый, – нетвердо отвечает сам Андрей Иванович.

– Где же бывать такому случаю, ни в каких историях, – с горечью проговорил молодой человек.

– Злодейство твое, не хочу скрывать и потакать тебе, видя твое раскаяние, тяжкое злодейство... не перед людьми – многие готовы сделать так, как ты совершил, – но перед своею совестью... Но ты сознаешься... хочешь исправить... да не вижу я, как исправить-то... Скажи мне, по чистой правде, чего желает твой родитель, что он замыслил?

– Что замыслил? Да разве не видишь сам? Хочет спойть отрока... сделал его совсем не способным ни к чему... привязать к себе... самому властвовать... Катю хочет поставить... заставить государя жениться на ней и закрепить за собою власть. Я хоть почти совсем не бываю в Горенках, а все знаю... все.

– Старая история, и разрушится так же, как прежняя, – раздумчиво высказал Андрей Иванович. – Но не в ней суть, не это страшно, а страшно то, что вконец сгубит ребенка, у которого в руках миллионы людей... Этому надобно помешать... Постарайся, князь Иван, искупить свою вину, оторвать государя от пагубного общества.

– Пробовал, Андрей Иванович, да не в силах теперь, государь меня не слушает больше. Видя, что слова мои не действуют, я перестал ездить с ним, думал соскучится... и это не помогает.

– Напротив, князь, я советовал бы тебе именно теперь ездить постоянно с государем, мешать родителю... внушать ребенку, может, иной раз и послушает... Будет доброе дело... Приказал я сюда доставить войско... Государь любит забавы, а в прежние годы страшный был

охотник до воинских упражнений, может быть, это отвлечет его сколько-нибудь, а главное... главное, старайся всеми силами уговорить, убедить его уехать отсюда в Петербург. Кстати, и благовидный предлог есть: ведь тело тетки его, Анны Петровны, до сих пор остается непогребенным в ожидании возвращения государя в столицу. А в Петербурге я уж постараюсь окружить его и заставить позабыть прошлое.

– Исполню в точности твои советы, Андрей Иванович, буду зазывать государя на воинские упражнения в лагеря, буду, сколько смогу, мешать отцу, неотступно звать в Петербург, буду ездить к ним часто, но постоянно быть там не могу... Здесь у меня, Андрей Иванович, дело... большое дело...

VII

Под свежим впечатлением разговора Иван Алексеевич выходил из кабинета вице-канцлера с полной решимостью тотчас же ехать в деревню, где проживал в последнее время государь почти постоянно, если не бывал на охоте, но дорогою эта радость несколько изменилась. «Не все ли равно, сегодня или завтра буду в Горенках, – раздумывал он, – ни пользы, ни вреда не будет, а между тем я могу свидеться с Натальей Борисовной». И он действительно тотчас же отправился, только не к государю, а на Воздвиженку.

Уныло стоял большой шереметевский дом на Воздвиженке после смерти фельдмаршала, знаменитого покорителя Ливонии, и его жены. Покойный Борис Петрович славился доступностью, русским широким хлебосольством, и при нем по всей Воздвиженке непрерывно сновали экипажи знатных персон и толпы бедного люда, а в доме каждый день шум, гам и беготня разных поваров, поваренков,стряпух и всякой домашней челяди. Теперь же во всех палатах полная тишь, притихла челядь, и заросли дорожки к боярскому дому – некому было принимать гостей. Старший сын, Петр Борисович, шестнадцатилетний мальчик, новичок в придворной жизни, не мог поддерживать старых порядков; да и характером, мелочный и надменный, далеко не напоминал отца; младший же брат, Сергей, – еще ребенок. Старшая сестра Наталья Борисовна, погодка с братом Петром, конечно, еще меньше могла быть представительницею старого дома, да если бы и могла, то не захотела бы. Росла Наталья Борисовна как-то странно – не так, как другие девушки придворного мира. С детства ее не занимали ни парижские робы, ни украшения из самоцветных камней, а, напротив, занимали книжки на иностранных диалектах, рассказы бывалых людей да нескончаемые беседы с любимой своею мамзелью, Марьей Штауден. Девушка не любила выездов и только, против желания своего, поддерживала редкими визитами с бабушкою, переехавшею в дом Шереметевых, Марьей Ивановной Салтыковой, немощною старухою, прежние связи с родственными домами влиятельного круга. Мирно текла ее девичья жизнь, и не думала она, сколько придется ей испытать горя и скорби.

Наталью Борисовну все любили, кто только знал ее. Трудно было представить наружность более привлекательною и менее поддающеюся описанию. Никакие слова, никакие красноречивые фразы не могут нарисовать того глубокого и вместе с тем симпатичного выражения, которое было разлито во всех движениях, в каждой черте правильного милого личика, в каждом взгляде больших глаз, смотревших спокойно и любовно на все, в грациозном изгибе талии, нежной и женственной.

В первый раз Иван Алексеевич увидел Наталью Борисовну на придворном бале, данном по случаю рождения принца Голштинского, танцуя с нею первый контрданс, и этот несчастный контрданс решил судьбу девушки и его. На Ивана Алексеевича она произвела сильное впечатление, но совсем не такое, какое испытывал он в своих бесчисленных донжуановских подвигах с красавицами. Любил он, как по крайней мере ему казалось, и дочь Миниха, и графиню Ягужинскую, и княгиню Трубецкую, но испытываемое им теперь чувство совсем не то, теперь стало невозможно любить и увлекаться зараз несколькими женщинами. Не один раз

Иван Алексеевич в этот вечер подходил к Наталье Борисовне и говорил с нею, но говорил тоже не так, как с другими, а как-то неравно, робко, конфузясь, смущаясь и вдумываясь в свои слова, чего прежде никогда не бывало.

Через несколько дней Марья Ивановна и Наталья Борисовна приехали с визитом к Прасковье Юрьевне. В прежнее время Шереметевы и Долгоруковы виделись часто, но в последние годы, от дряхлости ли бабушки или от несходства характеров девушек, но знакомство почти совсем рушилось. Иван Алексеевич первый увидал из окна подъезжавшую карету Шереметевых и опрометью бросился в парадную гостиную, к крайнему изумлению матери и сестер, не выдавших его у себя по нескольку недель.

Утром, в простеньком платье, Наталья Борисовна казалась еще милее. Иван Алексеевич успел перекинуться с нею только немногими незначительными фразами, но зато очень значительно говорили его выразительные, симпатичные глаза, почти не отрывавшиеся от девушки. Наталья Борисовна обращалась к нему ясно, спокойно, с тою ласковою отзывчивостью, которая иногда встречается при первом свидании и которой, наоборот, не бывает часто и при близких отношениях. Прощаясь, Иван Алексеевич просил у бабушки позволения лично представить ей свой респект.

И действительно, не далее как на другой же день он поехал на Воздвиженку, но просил доложить о себе не Марье Ивановне и Наталье Борисовне – это почему-то показалось ему неловким, – а Петру Борисовичу, визит к которому всеильного любимца, обер-камергера и андреевского кавалера не мог не показаться странным, особенно в то время, когда ранги и отличия имели весьма важное значение. Такой визит, понятно, поднял Петра Борисовича на самую вершину фортуны, он кланялся и изгибался, стараясь выказать почетному гостю свою всеижайшую почтительность.

– Дома ли графиня Наталья Борисовна? – наконец-то решился спросить Иван Алексеевич, опасаясь не увидеть девушку. – Я к ней с поручением от сестры, – добавил он, хотя никакого поручения не было, да и сестры не дали бы никакого поручения ветреному брату.

Молодой граф побежал за сестрою, может быть, догадавшись, чего именно желает влиятельный гость.

Для Натальи Борисовны приезд Ивана Алексеевича, казалось, не был неожиданностью; она будто ждала его, как это видно было и по более тщательной прическе, и по робе именно того цвета, какой более шел к ней, и того покроя, который обрисовывал ее стройную талию.

– Я был в отчаянии не видать вас, графиня, – встретил молодой человек Наталью Борисовну, едва прикасаясь к ее руке.

– Боялись не исполнить поручения вашего? – спросила девушка, улыбаясь.

– Какого поручения? – в свою очередь удивился князь.

– Брат мне сказал, князь, будто вы имеете что-то от вашей сестры.

– Ах... да... я сказал... но простите, графиня, никакого поручения у меня нет... выдумал я, боясь, что вас не увижу, что вы не захотите меня видеть...

– Почему же бы я вас не захотела видеть, князь?

– Потому... потому... графиня... что у меня такая дурная слава... что по-настоящему каждой женщине следовало бы бежать от меня, как от какой-то заразы, – с отчаянием в голосе выговорил Иван Алексеевич.

– Полноте, князь, кто говорит о себе так дурно, тот не может быть заразою. – И девушка так ясно и доверчиво смотрела в его глаза.

Молодые люди не замечали, как проходили минуты, часы, и проговорили бы они, вероятно, до ночи, если бы появление молодого графа не напомнило им, что для светских приличий визит продолжался слишком долго.

Иван Алексеевич стал ездить на Воздвиженку все чаще и чаще, ранее возвращаться с охоты, а потом перестал и совсем сопровождать государя. Занятые собою, влюбленные не

замечали ничего, не замечали, как добрые люди, заботливые к судьбе ближнего, тщательно подмечали все эти визиты и жалели о доброй барышне-графине. Иван Алексеевич и Наталья Борисовна зажили особою жизнью. Для него это было полное перерождение: все, что было в нем благородного, честного, великодушного, все теперь всплыло, заговорило громко и сильно; в невинной девушке он нашел своего ангела-хранителя.

В Наталье Борисовне любовь ничего не изменила, она только олицетворила все те неясные мечты, которые волновались во всем существе, как волнуется электричество в воздухе. Теперь все эти туманные грезы воплотились в дорогой образ, и она прильнула к этому образу.

Соскучившись сидеть одиноким в Москве, зарывшись, как крот, в ворохе бумаг, Андрей Иванович собрался навестить государя в Горенках и лично посмотреть на житея своего царственного воспитанника. Кстати, накопилось немало серьезных вопросов, требовавших неотложного решения, в особенности же заботило вице-канцлера одно дело, о котором он накануне проговорил целый вечер с имперским посланником, графом Вратиславским. Андрей Иванович приехал в Горенки как раз к обеду. Гостей почти никого не было, кроме своего семейного кружка, не было даже и тех молодых людей, которые считались более или менее приближенными государя: Иван Алексеевич сидел в Москве; молодой Бутурлин отослан в армию; Александр Львович Нарышкин выслан в деревню под опалу за дерзостные будто бы слова о государе; Сергей Дмитриевич Голицын, в последнее время особенно понравившийся государю, отправлен посланником. Из посторонних лиц находились только Миллезимо, как несколько не вредный человек, по мнению Алексея Григорьевича, да еще какой-то незначительный гофюнкер. Тесно и плотно окружившая государя семья Долгоруковых не допускала к нему никого, кто не был посвящен в интересы хозяина.

Обед сервирован был запросто, по-семейному. Подле государя сидели с одной стороны Андрей Иванович как почетный гость, а с другой, по обыкновению, княжна Екатерина, на которую, впрочем, государь, казалось, не обращал особенного внимания. Разговор преимущественно велся об охоте, на которую государь собирался на следующий день.

– Ваше величество можно поздравить с небывалым успехом. Говорят, что вы затравили до четырех тысяч одних зайцев, не говоря уже о пятидесяти лисицах, пяти волках и трех медведях? – спрашивал Андрей Иванович государя.

– Да что такое зайцы... я лучшую дичь затравил, Андрей Иванович, видишь, я везде вожу с собою четырех двуногих собак, – отвечал государь, наклонившись к старому воспитателю, но, однако же, и не так тихо, чтобы нельзя было слышать и другим.

Кто были эти собаки, государь не высказал. Андрей Иванович, казалось, совершенно не понял намека, а постоянно сопровождавшие государя Алексей Григорьевич и Прасковья Юрьевна с двумя дочерьми не имели никакого желания принять этот ответ на свой счет. Вице-канцлер, видимо, остался доволен всем, только высоко поднимались его брови всякий раз, когда государь, не ограничиваясь угощениями соседки, сам не уставал подливать себе вина. К концу обеда государь заметно повеселел, глаза его заблестели, и яркий румянец заиграл на щеках.

– Не хочешь ли с нами на охоту? – спрашивал он старого воспитателя, когда все мужчины после обеда перешли в гостиную и расположились в глубоких креслах перед камином.

– Нет, государь, меня уж увольте... стар становлюсь. Притом же сегодня надобно воротиться в Москву – я и приехал-то по самому нужному делу.

При слове «дело» лицо государя наморщилось.

– Ну, говори, Андрей Иванович, какое дело, вот вместе мы и рассудим... да говори только скорее: тебе некогда, и нам время дорого.

Андрей Иванович побряхтел, понюхал табаку, как делал всегда, когда содержание доклада было щекотливо, и начал несколько издали:

– Известно вам, государь, что в каждом благоустроенном государстве...

– Вот и занесся Андрей Иванович! В благоустроенном ли, не в благоустроенном ли, разве не все равно... ты говори прямо дело... ведь сказал тебе, что время дорого, – с нетерпением перебил его государь.

– Вчера, ваше величество, был у меня граф Вратиславский, по разным дипломатическим кондициям, и, между прочим, высказал желание императора породниться с домом вашего величества.

– Это каким образом? – оживился вдруг государь. – Не сватается ли за принцессу Лизу? Скажи ему, чтобы убирался... И вечно ты, Андрей Иванович, с прожектами!

– Нет, государь, не о цесаревне Лизавете Петровне речь была, а об вас самих.

– Да ведь мы и так, кажется, родственниками приходимся? Какого же еще нужно родства?

– Император желал бы видеть свою родственницу, принцессу Брауншвейг-Бевернскую, за вашим величеством, – наконец высказал разом вице-канцлер.

– В-о-т что! – протянул государь. – А хороша она, Андрей Иванович? Видел портрет? В каких годах?

– Не зная мыслей вашего величества по сей акции, я не осмелился входить с графом ни в какие конверсации.

– И умно сделал, Андрей Иванович. Чаю, какая-нибудь немчура! Навяжешь себе обузу на шею и будешь маяться целый век. Император во все будет вязываться. Не хочу я немки... То ли дело свои, русские. Если надоест или в противность что сделает... отпустить можно... в монастырь отослать, и никому никакого отчета не давай.

– Позвольте и мне, ваше величество, высказать свое мнение, – вмешался князь Алексей Григорьевич.

– Ну, говори, князь Алексей, какие такие у тебя завелись свои мнения, – разрешил государь, с явным пренебрежением оборотившись к старому Долгорукову.

– Искони веков, – начал князь Алексей Григорьевич, – как ведется наше царство, московские государи всегда женились на своих же подданных, по своему собственному выбору, кого излюбят. И было все хорошо. Своя раба угождает мужу-государю и не ссорит его с другими государями, не было никогда никаких ссор и кляуз. Первый завел новшество о супружестве на чужестранной принцессе покойный император Петр Алексеевич, женив на принцессе Шарлотте сына своего покойного, дай Бог ему царство небесное, родителя вашего, царевича Алексея Петровича, и вышло дело самое несчастное... Царевич всю свою жизнь плакался горькими слезами на свою супругу, и до войны чуть было не доходило... По моему мнению, Москве не след заискивать в чужих землях, когда дома хорошо. Лишние только путы себе.

– Слышишь, как рассуждают умные-то люди. Вот у кого нам, Андрей Иванович, с тобою поучиться, – обратился государь к вице-канцлеру, насмешливо кивая на князя Алексея Григорьевича.

– Препозиции императорского двора заслуживают не такой аттенции, ваше величество, – серьезно и внушительно заговорил Андрей Иванович. – Блаженной памяти ваш дедушка...

– Да что ты пристал ко мне с дедушкой, Андрей Иванович, не любил я его и не хочу жить по его указке, – перебил государь тоном капризного ребенка, не терпевшего нравоучений.

Андрей Иванович замолчал, о предложении австрийского посланника более не заговаривал, но, однако же, и не собирался уезжать; видно было, что он желал что-то высказать, но стеснялся присутствием князя Алексея. Со своей стороны, и князь Алексей Григорьевич не желал оставлять государя наедине с бароном вице-канцлером и почти не отходил от государя. Только на одну минуту, когда князь Долгоруков вышел зачем-то по приказанию государя, Андрей Иванович успел спросить воспитанника:

– Что же, ваше величество, когда соизволите осуществить предсмертное завещание вашей покойной сестрицы?

– Это ты опять все о поездке в Петербург досаждаешь? Сказал тебе, что перееду, так и исполню. Вот только последний раз поохочусь... Сам я теперь желаю уехать, надоело мне здесь и охота прискучила! Почти половину собак раздарил. Только, Андрей Иванович, не надоедай. Люблю я тебя, а не люблю, когда ты поешь все старые песни.

Вошел князь Алексей Григорьевич, и разговор оборвался. К вечеру вице-канцлер уехал. «Совсем-таки испортили ребенка, – думал дорогою старый воспитатель, – так испортили, что и поправить, кажется, нельзя. А всему виноват этот Иван... Ох, Иван, Иван... поплатишься ты... Что будет – и предвидеть человеческому разумению невозможно... Одно только хорошо, уедем отсюда... самому наконец наскучило. Рассчитывали сиятельные, да ошиблись – пойдете по той же дорожке, как и светлейший...»

По отъезде барона Андрея Ивановича молодежь собралась в зале и принялась для развлечения государя играть в фанты.

– Чей фант вынется, что тому делать? – спросила, встряхивая узел с фантами, некрасивая девушка, дальняя родственница Долгоруковых, жившая у них для компании дочерям.

– Поцеловать сестру Катю! – бойко решила младшая сестра Анна, подбегая к хранительнице фантов.

Она запустила руку в узел и с торжеством вынула оттуда царский платок. Но вместо того чтоб поторопиться выполнить приятный штраф, государь с неудовольствием отвернулся, встал и вышел в другую комнату. Игра расстроилась, все почувствовали себя неловко, а побледневшая княжна Катерина проводила государя недобрый взглядом.

Весь этот вечер государь был в раздражительном и придирчивом расположении духа – так, по крайней мере, объяснили себе Алексей Григорьевич и Прасковья Юрьевна грубую выходку и непрерывные насмешки государя над всеми ими. И отчасти они были правы. Как все нервные люди, государь всегда ощущал на себе резкие перемены погоды, может быть, даже в более сильной степени, так как его истощенный организм сделался чрезвычайно восприимчив и чувствителен. Погода же действительно стояла самая отвратительная, способная нагнать сплин на самого неподатливого человека. Глубокая осень со сплошным серым небом, мелким неустанным дождем, сыростью, воем ветра и постоянным хлопаньем ставней невольно нагоняла тоску. Государь рано пошел в свою спальную, и вслед за ним разошлись по своим комнатам гости и хозяева.

Огни потушены. Сонная тишь, и в этой тиши еще громче раздается храп челяди, еще слышнее и отчетливее хлещут дождевые капли по стеклам, заунывнее воев буря в печных трубах и во всех скважинах, жалобнее стучит ночной сторож в разбитую доску. Во всем доме, казалось, все заснуло, но вот тихо, почти неслышно скрипнула дверь из комнаты в мезонине, и в полосе света мелькнула белая женская фигура, которая, проскользнув через узкий коридор, спустилась с лестницы, стараясь не выдавать своих шагов непрошеным скрипом. Женщина осторожно подошла к двери одной из комнат для прислужниц. Княжна Катя – это была она – прислушалась и, тихо отворив дверь, вошла в простенькую комнату своей верной фрейлины Аксюты. Посещение, по-видимому, было не в первый раз; Аксюта не удивилась, а, напротив, она будто ждала и тотчас же по входе барышни вышла. Княжна Катя осталась и словно застыла в напряженном ожидании, с широко раскрытыми глазами и вытянутою вперед головкою.

Снова скрипнула и отворилась дверь; на пороге показалась красивая фигура Миллезимо, но княжна не встретила его и как будто даже не замечала.

– Милая моя Катя, что с тобою? – испуганно шептал Миллезимо, обнимая девушку и страстно целуя ее холодные руки и бледное лицо. – Не случилось ли чего?

– Случилось? Да... случилось... Только что же такое случилось?.. Не помню... в голове смутно... больно... ничего не помню...

– Голубка моя, дорогая, испугалась?.. Да посмотри же на меня... – ласкал и успокаивал девушку Миллезимо.

– Теперь все вспомнила... все вспомнила... Слушай! – И княжна порывисто высвободилась из его объятий. – Мы видимся в последний раз, понял ли ты меня... в последний... последний раз! – И Катерина Алексеевна сама привлекла любимого человека, страстно обняла его и с каким-то самозабвением прильнула к нему.

– Как в последний? Отчего, Катя, в последний? – растерянно и пугливо спрашивал Миллезимо. – Разве узнали?

– Не бойся, не узнали, никто не узнал... Да я сама не хочу... в последний раз ты мой... а там... там...

– Да что ж там-то, Катя?

– Скажи, милый, хороша я собой? – горячо целуя, шептала Катерина Алексеевна точно в бреду.

– Ты хороша ли собою? Да кто ж лучше тебя на свете? Ты гордая, неприступная красавица, ты царица...

– Ха, ха, ха! Царица! Вот и угадал, сам угадал... – истерически смеялась и плакала девушка.

– Как угадал, милая, что такое?

– Нечего говорить... сам сказал, что я царица... и буду царицею!

– Какою царицею, Катя? – все больше и больше путался Миллезимо.

– Русскою царицею... императрицею...

– Что ты шутишь, Катя, ведь государь – ребенок.

– Какой ребенок, когда он два года назад был женихом Меншиковой!

– Катя, Катя, милая, перестань шутить, не мучь меня!

– Не мучь? А разве я не мучусь... Разве мне не больно пачкаться грязью, продаваться?..

– Да кому ж продаваться, Катя? Как я заметил, государь к тебе равнодушен... – и сомневался и не доверял Миллезимо.

– Ты называл же меня красавицею, а разве можно красавицею не увлечься?

– Увлечься не значит любить, дорогая моя... Разве государь тебе сделал предложение?

Когда же?

– Нет, не делал.

– Так как же это? – совсем растерялся Миллезимо.

– Отец и мать решили и все устроили... Разве меня спрашивали? Распорядились мною, как вещь... не спросили, люблю его или нет. Полную инструкцию сейчас дали, как вести себя... Сначала буду любовницею... а потом царицею. Поверил теперь? Что же ты молчишь, на что решился?

– А? Да как мне решать... с какого права?

– С какого права! Разве я не люблю тебя, разве ты не клялся мне в вечной любви?

– Клялся, Катя, и теперь клянусь... люблю тебя... люблю так, как и высказать не могу...

Да что же я могу сделать?

– Ты мужчина, и спрашиваешь меня?! Если бы я была на твоём месте, я бы не спросила... я бы сумела найти средства... Увези меня... Я с тобою убегу, куда ты хочешь.

– Нельзя, Катя... Куда мы убежим? Нас везде отыщут... Что скажет брат Вратиславский?

Княжна порывисто, долгим и страстным поцелуем прильнула снова к любимому человеку, но потом вдруг, оторвавшись и прошептав: «Прощай!» – убежала.

VIII

Ничтожному острожку за тысячу с лишком верст к северу от Тобольска, в снежной равнине, судьба назначила быть усыпальницею самых видных русских людей первой половины XVIII столетия. Трое государственных деятелей, управлявших почти неограниченно импе-

рию, располагавших судьбами миллионов людей, обладавших полным земным могуществом, сложили там свои головы на вечный покой, унося с собою свои последние думы.

Сурова и скудна природа Березова¹. Более семи месяцев покрывают землю глубокие снега, окутывая беспредельную окрестность однообразным мертвенным саваном. В половине мая только начинается оживление – но что это за оживление? Кругом болота и тундры с однообразною флорой, изредка прорезываемые лесными чащами из красного леса сосны, ели и мелкорослой березы; зато вдоволь разного пушного зверя. Березов, теперь жалкий уездный городок, был в то время такую же незначительную кучкою хижин первобытной постройки, с острожком да одною или двумя деревянными церквями.

Население Березова составляли семьи остяков и самоедов, занимавшихся исключительно звериным промыслом; земледелия тогда не было, только русские поселенцы стали вводить огородничество. Да и какое же могло быть земледелие, когда зимою сорокапятиградусный мороз захватывает дыхание, земля и лед трескаются, птицы падают мертвыми, а летом бесперывные перемены – то сырость и туман, то нескончаемые ветры.

Истомленную и измученную прибыла в августе 1726 года в Березов семья нерушимого статуй Александра Меншикова: он сам, светлейший князь, тринадцатилетний сын Александр и дочери, четырнадцатилетняя Александра и шестнадцатилетняя обрученная невеста Марья. Несчастливая Дарья Михайловна не доехала до места ссылки – она умерла на руках семьи, окруженная солдатами и крестьянами, три месяца назад на пути в казанской деревне Услон на берегу Волги, где и погребена у самой церкви: не выдержал ее болезненный организм дороги в простой телеге.

По прибытии ссылную семью поместили в городском остроге, жалком деревянном строении, низком, длинном, с узкими полукруглыми вверху окнами, до того узкими, что через них и среди дня едва проникал Божий свет. Мрачно смотрела эта тюрьма, обнесенная высоким тыном из толстых стоячих бревен, холодная и неудобная для жилья, недавно переделанная туземным усердием из здания упраздненного мужского Воскресенского монастыря, из которого монахов за три года перед тем перевели в другой монастырь. Следы этого острога, в двадцати сажнях на запад от каменной Богородице-Рождественской церкви на берегу реки Сосьвы, сохранились и до настоящего времени. Весь острог, назначенный для помещения ссылной семьи, состоял только из четырех комнат, из которых одну заняли сам Данилыч с сыном, другую – дочери, третью – прислуга, а четвертую определили в кладовую для съестных припасов.

Падение с высоты совершенно изменило характер Александра Даниловича. Из прежнего надменного, не терпевшего ни малейшего противоречия вельможи, он сделался добрым, кротким и религиозным. Одно только оставалось в нем прежнее: эта ненасытная жажда деятельности. Как и прежде, князь не мог оставаться ни одной минуты без дела. Вскоре после прибытия он задумал выстроить церковь и исполнил это намерение с тою же железною энергиею, какою отличался в фаворе: он сам копал землю, носил камни, сам с топором в руках обтесывал бревна, прилаживал венцы – не пропали даром уроки великого преобразователя. А потом, когда церковь была выстроена, он неуклонно всегда исполнял в ней обязанности сторожа, старосты и дьячка, ставил свечи, читал Апостола, звонил в колокола, чистил пол в церкви и пел на клиросе. Немало было тоже работы и дома, надобно было заняться прикосами, купить или заготовить впрок, а по вечерам сам читал Священное Писание, или заставлял читать детей, или же диктовал им некоторые воспоминания из своей жизни.

В первое время строго смотрели за ссылными; им не позволялось выходить за острожный палисад, но по мере того как надзираемые и надзирающие осваивались друг с другом, когда надзирающие убедились, что бежать некуда, что и намерения такого не может быть, пригляд стал постепенно слабеть, и ссылным стали позволять выходить из ограда, гулять по берегу Сосьвы, принимать гостей – кого-нибудь из обывателей; запрещалось только ходить

по городу. Одним из самых частых посетителей Меншиковых был тамошний мещанин Матвей Егоров Бажанов, коренастый малый лет около сорока, простодушный, здоровый, ретивый работник, плотник, столяр и слесарь, способный на всякие работы. Бажанов считался главным помощником Александра Даниловича по постройке церкви и часто, почти каждый праздник, бывал в остроге послушать назидательного чтения и поговорить о любопытных приключениях. Отрадно было и самому светлейшему князю передавать наивному собеседнику прошлое, вспоминать самому и, не раз он говаривал Матвею Егоровичу:

– Вот ты сидишь со мною рядом, а прежде наши вельможи, иностранные принцы и князья платили деньги за то, чтобы попасть ко мне во дворец, и каждое слово мое считали особою милостью. Теперь же самые дорогие для меня гости – неимущие.

Не обманывал и не обманывался Александр Данилович. Под сибирскими снегами он узнал истинную цену мирской славы, открывшимся сердцем понял высокое учение Христа и не лицемерил, когда почти постоянно шептал:

– Благо ми Господи, яко смирил мя еси!

И Александр Данилович действительно не жалел о прошлом фаворе, так он нравственно вырос, вырос до той высоты, до которой он никогда бы не достиг около престола, вырос в тот момент, когда с сердечною простотою высказал сидевшему рядом с ним мещанину Бажанову:

– Теперь мне смерть не страшна, а как боялся я ее на высоте величия!

Даже по наружности Александр Данилович поздоровел, видимо пополнел от физических трудов, добрые глаза смотрели бодрее, отпущенная широкая борода придавала мужественный вид; но это только казалось. В действительности же та болезнь, которою он страдал в величии, от которой ломило грудь, изливалась кровь и от которой он падал без чувств, незаметно, но постепенно продолжала свое разрушительное дело.

Единственное темное облачко, которое пробегало порою по светлому облику Данилыча, – облачко о судьбе своих детей, но сами дети не давали никакого повода печалиться о них; все они казались веселыми, покойными и счастливыми. Сын, бойкий мальчик, деятельно помогал отцу, учился и скоро привык к новой жизни; младшая дочь во всем брала пример со старшей, а старшая Маша, бывшая обрученная невеста государева, не только нисколько не жалела о прошлом, а, напротив, радовалась, что это прошлое минуло навсегда. Немного она еще жила, но много испытала. Как цветок, выращенный в теплице, она в тлетворной среде развилась быстро, и когда ее сверстницы еще учились или переходили от кукол к грамоте, она уже любила, и любила глубоко, своего милого доброго жениха Сапегу. Жизнь ей тогда улыбалась, но вот вдруг, в самый расцвет счастья, нежданно-негаданно налетело горе. Императрица Екатерина отняла от нее жениха, назначив его своей племяннице, и суровый отец приказал быть невестою, которой все завидовали. Ни она не любила жениха, ни государь-жених не любил ее, а тут каждый день перед глазами любимый человек – жених, а потом и муж другой. Изнылось, истомилось ее сердце от постоянного принуждения, от постоянной борьбы с собою – и почувствовала она себя легче, когда очутилась в новой жизни. Нелегко и здесь! Во всем лишения, недостатки, но нет, по крайней мере, постоянного мучения; неустанные заботы об отце, о брате и сестре, хлопоты по хозяйству, к которому надобно было приучаться, занимали все время, умиряли и успокаивали волнения. Порою, правда, память рисовала ей минувшее счастье, вспоминала она о балах, где за нею так все ухаживали, льстили ей, уверяли в любви и преданности, многие казались ей тогда такими преданными, такими любящими. Вспоминала она, например, обожание, какое-то благоговение перед нею князя Федора Васильевича Долгорукова, но вслед за тем с горечью чувствовала, что все это было поддельное, лживое, и она успокаивалась; мало-помалу вытеснялся из сердца и образ жениха Сапегу.

И чем более проходило время, чем ближе арестанты осваивались со всеми окружающими их простыми людьми, тем больше они находили сами в себе силу, мир и спокойствие.

Жизнь текла однообразным, определенным порядком. Даже когда работы по устройству церкви кончились и у Александра Даниловича оказывалось более свободного времени, даже и тогда ни разу жалоба или сожаление о прошлом не мелькнули у него в голове. Первую острую боль победил физический труд, а потом религиозное чувство расширило иное мирозерцание. Александр Данилович как будто даже полюбил дикую местность, яснее она говорила ему о назначении человека. Полюбил он пустынный берег Сосьвы, куда уходил после вечерней церковной службы, усаживался на излюбленном своем местечке и, смотря на быстро струившуюся реку, которой воды журчали и неслись куда-то вдаль, задумывался и просиживал там неподвижно целые часы до тех пор, пока не вызовет его домой ласковый голос бывшей обрученной невесты.

Прошел год, и ссыльные стали пользоваться значительно большею свободой. Раз, пользуясь хорошою погодою, в конце августа Марья Александровна вышла гулять по знакомой укатанной береговой дорожке и отошла довольно далеко. Исчезли из виду острог и городские лачуги, только еще церковный крест, освещенный последними лучами заходящего солнца, блеснул над ближним пригорком. Кругом, в пустынной равнине, мертвая тишь: ни голоса человеческого, никакого следа его неутомимой деятельности. Марья Александровне по душе это безлюдье, могилую сказывается оно, и самой ей становится так же спокойно, как спокойно лежать в могиле.

Но вот где-то простучала как будто телега, затем все смолкло, потом через несколько минут стук повторился ближе, еще ближе, и из-за поворота дороги показался экипаж местной конструкции. В той будничной, серенькой жизни, какую вели ссыльные, каждое самое мелочное обстоятельство составляет событие, к которому невольно приковывается внимание. Марья Александровна с любопытством вглядывается: на облучке остяк, новый их знакомец, иногда доставляющий им припасы, но кто же другой? По одежде не то мещанин, не то крестьянин. Незнакомец, как видно, торопится, он то оглядывается кругом, то пристально смотрит вдаль, наклоняется к туземному вознице и нетерпеливо дергает его за рукав. Телега равняется с девушкой.

– Стой! – кричит незнакомец и, моментально соскочив с телеги, становится прямо перед удивленною и испуганною Марьею Александровною. – Княжна Марья Александровна! – едва выговаривает от волнения незнакомец, задыхаясь и не отрывая от нее глаз.

Странно прозвучал титул в ушах княжны, отвыкшей уже от почестей, почти забывшей их.

– Княжна Марья Александровна, не узнаешь меня? – переспрашивал проезжий.

– Я не знаю тебя... Кто ты? – спрашивает и княжна.

– Вглядиись хорошенько, может, и припомнишь.

Но как ни вглядывалась, как ни припоминала девушка, но она никак не могла признать в этом запыленном, в сером зипуне, в обросшем бородою проезжем никого из старых знакомых. Да и как бы эти старые знакомцы могли попасть сюда?

– Никого... – решительно отказывается княжна.

– Вспомни... не был ли у тебя, когда ты была в величии, преданный тебе человек, который тогда не высказывал своих чувств, потому... что тогда ты не выслушала бы... любила другого... – отрывисто напоминал серый зипун.

– Да... ты... но это не может быть... – вспоминала Марья Александровна. – Ты похож...

– Да на кого ж? – нетерпеливо допрашивал проезжий.

– Ты схож... да это не может быть!

– На князя Федора Васильевича, – наконец высказал странный человек.

– Да... правда... Так ты князь Федор Васильевич? Но как ты здесь? Зачем? В опале? Кто же там теперь? – закидывала вопросами девушка, с недоумением оглядывая окладистую бороду и запыленный зипун.

– Не в опале я, милая княжна, по-прежнему состою обер-егермейстером при государе, по-прежнему в милости, и там... ничего не переменилось.

– Так как же это? – еще более путалась княжна.

– Пойдем к вам... дорогою расскажу.

И рассказал Федор Васильевич просто, без витиеватых фраз, как он после отъезда Меншиковых разума лишился, как щунял его отец Василий Лукич, как потом махнул на него рукою, и как наконец он отпросился у государя будто по делам в вотчину, а сам сочинил себе паспорт под именем мещанина Федора Игнатъева и приехал сюда. Федор Васильевич не сказал зачем, да этого и не нужно было – княжна давно все поняла, и давно уже, с самого начала рассказа, румянец заиграл на ее похуделых щеках, а с густых длинных ресниц скатывались слезинки.

– Пойдем к батюшке, и скажи ему все... – решила девушка, когда князь Долгоруков кончил свой рассказ.

– А ты что скажешь?

– А я?.. Можешь и сам догадаться... – тихо проговорила счастливым голосом Марья Александровна.

Подошли к острогу; часовые затруднились было пропустить незнакомого зипунщика, но согласились по усиленной просьбе княжны, которую любили все – и караульные и обыватели.

Федор Васильевич повторил рассказ свой Александру Даниловичу и по окончании упал перед ним на колени.

– Хотя ты из Долгоруковых... из врагов моих, и прежде бы я не согласился, но теперь у меня врагов больше нет, все мы нищие духом, и если Маша согласна, то с радостью благословлю, – решил Александр Данилович, поднимая Федора Васильевича и трижды любовно целуя его.

Мещанин Федор Игнатъев для своего жилья нанял светлицу у старого отца Прохора, священника церкви, выстроенной Меншиковым, но бывал дома только по вечерам и ночам, дни же все проводил в остроге у ссыльного семейства. Скоро к новому поселенцу приехало несколько подвод с какими-то тюками, тщательно запакованными. «Видно, в торговлю пойдет», – порешили местные обыватели; поговорили, поговорили да и замолкли, привыкнув к новому лицу и не заметив с его стороны никакого утеснения. Не обращало на него внимание и местное начальство с приставленными караульными, да как им и не быть снисходительными, когда Федор Игнатъев явился таким тороватым: кому подарит шубу, кому материи, кому какую ценную вещь.

Скоро совершилось и венчание князя Федора Васильевича, или Федора Игнатъева, с ссыльною княжною Марьею Александровною в той же новой меншиковской церкви, в тайности, без свидетелей и без записки в метрические книги, которых, впрочем, в те времена не велось и в любой церкви внутри государства. Никто из посторонних не знал об этом браке: начальство, может быть, и догадывалось об нем, но, вероятно, считая его делом домашним, не видело в том никакой провинности. Все видели, как молодой приезжий каждый день гулял с девушкой по любимой ими береговой дорожке, оба такие красивые, он в новом кафтане из тонкого сукна, а она, такая веселая, в черном бархатном платье, и оба они казались до того счастливыми, что ни у кого не достало злобы на донос.

Прошел еще год. Семья Меншиковых наслаждалась тихим счастьем, не замечая времени, не имея никаких сведений о придворных конъюнктурах и не желая знать об них. Александр Данилович, казалось, совершенно успокоился. Прежде по временам его мучила мысль о будущности своей семьи, что будет с его малолетними детьми, когда его не станет, но теперь у них явился защитник надежный, который любит их, сумеет оградить, в случае напасти, и здесь и там, если переменятся обстоятельства, и они снова воротятся. Но вместе со спокойствием, как замечали дети, он стал чувствовать себя хуже. Появились прежние обмороки и кровохар-

канье, стало усиливаться стеснение в груди – раз даже его принесли без чувств с его обычного местечка, где он любил оставаться один.

С наступлением зимы болезненные явления увеличились до того, что с каждым днем можно было ожидать роковой развязки, которую и ожидал больной со спокойствием, с ясностью древнего христианина. 12 ноября Александр Данилович умер тихо, без всяких страданий, благословляя и утешая плачущих детей. На третий день его похоронили, согласно с его желанием, близ церкви, на любимом его месте на берегу Сосьвы.

Теперь нет и следов могилы светлейшего... Ее давно снесли воды Сосьвы, отмывавшей в этом месте каждый год выдающиеся части берега.

По смерти нерушимого статуя надзор за ссыльным семейством значительно уменьшился – не стало главного виновника и опасного человека. Заключенным позволили беспрепятственно выходить во всякое время, и даже местный воевода подал надежду, что, вероятно, скоро разрешится им жительство в городе на вольной квартире. Впрочем, данным позволением широко воспользовался только один сын Александра Даниловича, с утра до вечера резвившийся на свободе; Марья Александровна Долгорукова почти не в силах была выходить от тяжелой беременности, приближавшейся к концу.

Огорчение от смерти отца расстроило до крайней степени истощенный организм молодой женщины, здоровье которой не могло не пошатнуться от непривычного сурового климата. По несчастью, к общим неблагоприятным условиям присоединилась еще роковая неосторожность. Возвращаясь из отцовской церкви после панихиды в сороковой день, Марья Александровна оступилась на крыльце и упала, ударившись о ступени. Во весь этот день появлялись и продолжались опасные признаки, в следующий произошли преждевременные роды мертворожденных двойничек.

Недолго продолжалось счастье Федора Васильевича. На другой же день после родов скончалась Марья Александровна от родильной лихорадки или от потери всех жизненных сил – это, по неимению в Березове ученых акушеров и медиков, осталось тайною. И опустили молодую женщину в глубокую могилу в негостеприимной земле, а на гробе ее поставили гробики двух ее младенцев. Не дожила бедная обрученная невеста до лучшего времени, а оно было близко.

Куда девался после смерти жены князь Федор Васильевич – никому не известно.

IX

– В лице Кати, государь, обещана не она одна, а весь род наш долгоруковский, древний род из Рюриковичей, нередкий свойственник московских царей. Не меня одного убьет этот позор, а всех нас – и князя Василья Лукича, и фельдмаршала князя Василья Владимировича, которого оскорбление отзовется и на всем войске... – плакался князь Алексей Григорьевич утром 13 ноября в спальне государя, один на один.

Смущенный государь-отрок не находил слов к оправданию. Он сам не понимал, каким образом могло случиться такое дело. Княжну Екатерину он видал каждый день, каждый почти час, но никогда к ней ничего не чувствовал; видел, что она хорошенькая, но никогда не было никакого желания с нею сблизиться – пригляделась. Смутно вспоминает он вчерашний вечер, вспоминает, что пил немного больше обыкновенного, что ощутил в себе какое-то волнение, словно все в нем дрожало; помнит он, как все разошлись по спальням, все уснули, а ему приходилось проходить в свою комнату через гостиную. В этой-то комнате он и встретил девушку, и показалась она ему почему-то очень хорошенькою и обольстительною; он подошел к ней спросить о чем-то, взглянул в ее влажные, такие манящие глаза, обнял ее, поцеловал... а потом не помнит, что было... А затем вдруг откуда-то, словно из земли, вырос отец.

– От любви, государь, к вам моя дочь пала и пожертвовала для вас собою. По рыцарской чести, коею моделью ваше царское величество, взыщите отдавшуюся вам девушку, как неод-

нократно взыскивались из нашего дома и не для покрытия позора, – продолжал князь Алексей, выдавливая слезы из усиленно моргавших глаз.

– Полно хныкать, князь Алексей, ну я виноват... завлек девушку, так сумею и поправить, – смущенно оправдывался государь.

– Так ваше величество изволите вступить в брак с княжною Екатериною... по примеру славных предков? – умиленно допытывался князь.

– Кончено, вступлю, – подтвердил государь, желая как можно скорее отделаться от докучливых упреков.

– Соизволите разрешить учинить надлежащие распоряжения, ваше величество? – продолжал спрашивать князь, видимо желавший заручиться более продолжительным словом.

– Делай, как знаешь. Сказал, так от своего слова не отрекусь.

Князь Алексей Григорьевич бросился целовать руки государя, а потом побежал обрадовать радостною весточкою княгиню Прасковью Юрьевну и дочь.

Со следующего же дня женский персонал многочисленных родичей Долгоруковых принялся готовиться к свадьбе. Хотя о предложении государя и не было еще официально объявлено, но по усиленным семейным хлопотам, по разным приготовлениям в московском государевом дворце все стали догадываться о предстоящей свадьбе. Много толков и пересудов ходило по городу: князь Алексей Григорьевич не пользовался общим расположением, и сплетням завистников не было конца. Не только лица других фамилий, но даже и самые близкие люди нисколько не радовались родству с государем, а следовательно, возвеличению князя Алексея Григорьевича.

– Хитришь ты, брат Алексей, – с обычною своею прямою высказал Алексею Григорьевичу фельдмаршал Василий Владимирович на объявление того о сватовстве.

– Никакой хитрости, фельдмаршал, тут с моей стороны не было. Сам я заметил, как молодые люди полюбили друг друга, – не запинаясь лгал будущий государев тесть.

– То-то и видно, что полюбились! Как сядут рядом, словно двуглавый орел, смотрят врознь, – заметил фельдмаршал.

Кто, кажется, ближе брата родного, но и тот не показал большой радости. Сестру поздравил холодно, сдержанно, зато и сестра отвечала брату так же. Чего бы, кажется, ему-то завидовать! Мало того, что холодным, Иван Алексеевич выказал себя явно недоброжелательным. Когда стали готовиться к свадьбе, Прасковья Юрьевна отводит сына в сторону и говорит ему:

– Навел бы ты государя одарить невесту-то царским подарком. Вон лежат попусту бриллианты покойной Натальи Алексеевны. Ему они не нужны, а девушке лестно. Государь тебя слушает.

Всякий другой брат, если бы сам не догадался, то уже, наверное, сейчас бы согласился, а Иван Алексеевич – хорош родич – наотрез отказал:

– Не пойду просить государя об этом, знаю, как после покойной ему каждая вещь ее дорога. – Да потом вдруг и бухнул: – Мало еще вам, что совсем государя обобрали, вы и душу-то его готовы обобрать.

Больше всех радовался господин вице-канцлер барон Андрей Иванович и не брал на себя никакой личины, когда, выслушав официальное извещение своего коллеги, он с сияющим от радости лицом его поздравил. Да и как ему, оракулу, было не радоваться, когда он знал, что этой свадьбе не состояться, а между тем скорая развязка вырвет наконец ребенка из тлетворной среды.

Меткое замечание фельдмаршала о двуглавом орле глубоко врезалось в голову Алексея Григорьевича, поселив опасения и побудив к лихорадочной деятельности. Сам он яснее всех видел, как жених и невеста холодны друг к другу, знал, сколько труда он сам положил уломать дочь свою, которая и сама немалой гордости, сколько труда и неприятности стоило ему отвадить последними днями этого офицеришку-мотышку Миллезимо, на которого он прежде

не обращал вовсе внимания и на которого теперь вдруг вспало какое-то подозрение. Уломалось наконец все, а как на самой-то вершине разрыв? «Казалось бы, обеспечил себя хорошо, – постоянно думалось князю Алексею Григорьевичу, – внушал немало, что царское слово перемененно не бывает, да разве можно оберечься от каждого слова завистников, от каждой случайности». И Алексей Григорьевич стал еще более торопить приготовлениями, еще настойчивее внушать государю, что необходимо поспешить торжественным объявлением, которое обелит невесту и защитит от всяких сплетен.

Государь легко согласился ускорить все церемонии, если они неизбежны, – всегда эти церемонии казались ему неприятными, а в последнее время все так опротивело! Порою думалось, не будет ли лучше, когда переменится жизнь, да переменится ли она?

Через два дня государь и Долгоруковы переехали из Горенок в Москву и разместились: государь в слободском Лефортовском дворце, Долгоруковы – в Головинском, а вслед за тем были разсланы повестки ко всему дипломатическому корпусу, ко всем сановникам, генералитету и знатному духовенству: собираться 19 ноября во дворец для выслушивания воли государя, о которой, впрочем, в городе стало известно всем и каждому.

В этом торжественном собрании государь объявил о своем намерении вступить в брак с княжной Екатериной Алексеевной Долгоруковой. Все казались ошарашенными таким выбором, все с такими сияющими лицами спешили поздравить невестину родню и наказать ей самых радужных пожеланий.

С таким же объявлением накануне государь ездил к бабушке в Новодевичий монастырь. Бабушка тупо выслушала слова внука. В ней двухлетнее бесплодное напряженное ожидание почестей и власти наконец уступило место полной апатии, и она в последнее время вдалась в самое точное и мелочное исполнение монашеских уставов.

– Ну что же, хорошее дело задумал, внучек, лучше, чем рыскать по чужим гнездам, – холодно выговорила она, перебирая четки и оканчивая заданное число молитв.

Да и молодой внук тоже не выказал особенной нежности, а, напротив, вслед же за объявлением стал собираться уезжать.

– Княжна Екатерина, говоришь ты, внучек, помню, как же, помню, хорошенькая такая... Только сам ли выбрал? – вдруг с каким-то оживлением спросила государыня-инокиня.

– Сам, бабушка, – несколько покрасневшись, отвечал внук.

– То-то сам, на себя плакаться некому, а то, как выберет роденька, потом живи век да горюй... Долгоруковы семья почтенная, верная нам. Покойница матушка Наталья Кирилловна не раз говаривала со мною об этой семье и хвалила.

День именин княжны Екатерины прошел тихо, без торжества. В семье Долгоруковых и в государевом дворце все готовилось к торжественному обручению, которое было назначено на 30 ноября. Приезжали только утром все высокие персоны государства и иностранные посланники с обычными поздравлениями, да приезжал воспитатель государя Андрей Иванович, наставлявший столько кудреватых любезностей как милой невесте, так и отцу ее, что Алексей Григорьевич от избытка чувствительности принимался несколько раз благодарить, обнимать и крепко целовать товарища и вице-канцлера.

Настал наконец торжественный день обручения, которое должно было совершиться по нарочно составленному князем Василием Лукичем церемониалу, с целью придать событию как можно более важности и торжественности. В обоих дворцах многочисленные собрания: в Лефортовском, у государя, в назначенный час кроме особ царской фамилии, цесаревны Елизаветы, мекленбургской герцогини Екатерины Ивановны с десятилетней дочерью Анною Леопольдовною и бабушки – инокини Елены, съехались в сверкавших золотом, серебром и камнями кафтанах все первые государственные сановники, члены Верховного тайного совета, генералитет, высокое духовенство, все знатные московские персоны и, наконец, иностранные министры с семьями. В то же время в Головинском дворце собралась немалая свита всех род-

ственников, свойственников и ближних людей Долгоруковых, определенных окружать и сопровождать невесту. В числе подруг государыни-невесты находилась и графиня Наталья Борисовна Шереметева.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.